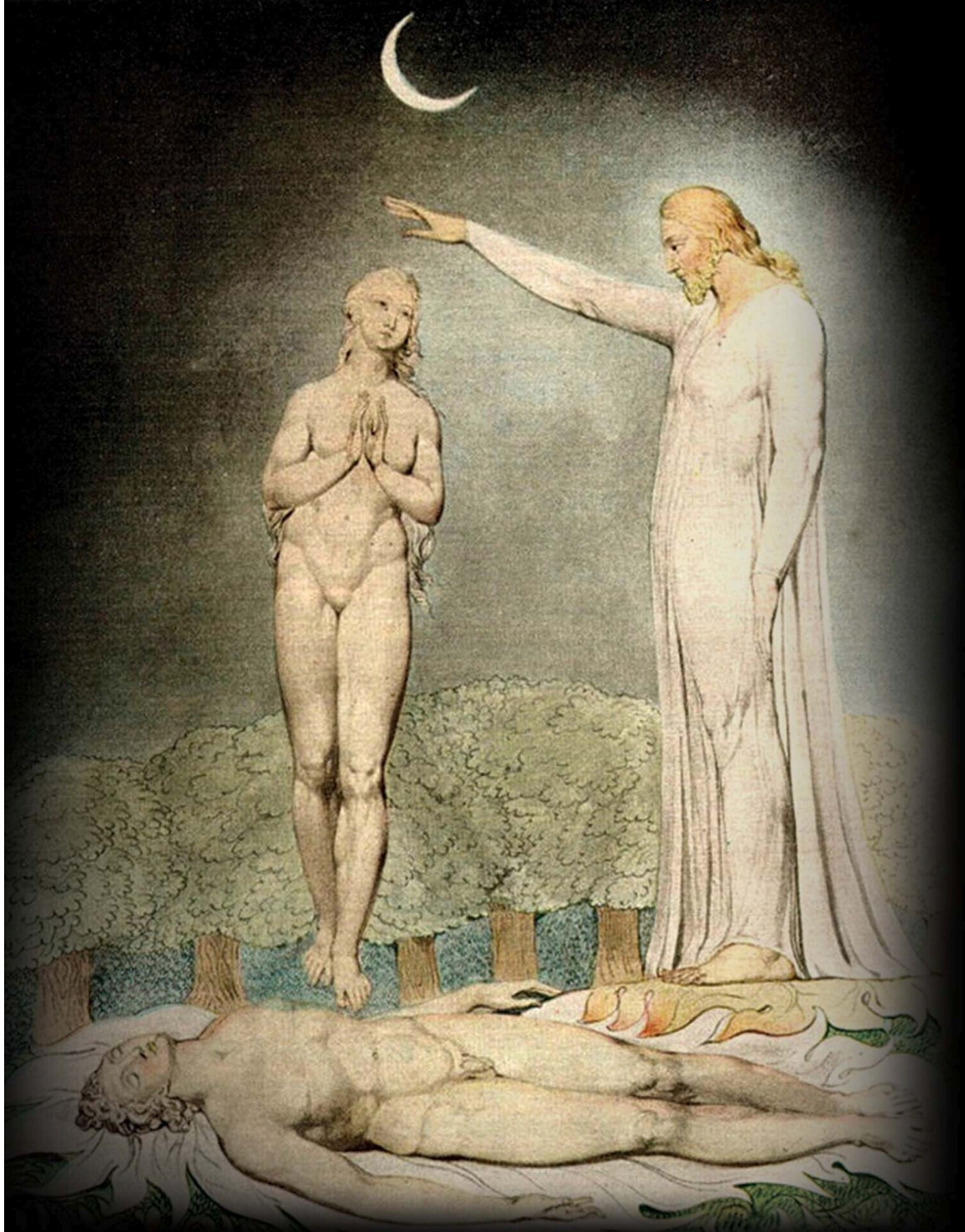


НИКОЛАЙ БИЗИН

ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ



Николай Бизин
Вечное возвращение

«Алисторус»

2021

УДК 82-94
ББК 84(4)-44

Бизин Н. И.

Вечное возвращение / Н. И. Бизин — «Алисторус», 2021

ISBN 978-5-00180-112-2

«Дилетанты, сделав все, что в их силах, обычно говорят себе в оправдание, что работа ещё не закончена. Разумеется! Она никогда и не может быть закончена, ибо неправильно начата», – Иоганн Вольфганг Гёте. И это, безусловно, верно, если речь идёт о деле рук человеческих! Но в романе «Вечное Возвращение» речь идёт о Сотворении Мира, о Грехопадении и не только о том, что было после него: о непрерывном самовоссоздании человека, о тщете его попыток пройти путь от Первого до Последнего, от Альфы к Омеге – так что и речи нет о неправильном Начале! Человек здесь ничего не начинал. Остросюжетное и многомерное повествование затрагивает аспект «до Грехопадения», причём развёрнутый на протяжении всей человеческой истории «после Него»: взаимоотношение Адама и его Первой Жены Лилит – из ребра не сотворённой, добра и зла не ведающей. «Мы дети Дня Восьмого», – Торнтон Уайлдер; мир не может быть целостен и дотворён, если не достигнута невиданная гармония человеческой любви Первомужчины и Первоженщины; а что много крови и смерти в человеческой истории (из которой нет выхода, казалось бы), – так ведь смерти нет! Есть недостижимая любовь. Кому, как не Лилит, не ведающей не только добра и зла, но и смерти, знать об этом...

УДК 82-94
ББК 84(4)-44

ISBN 978-5-00180-112-2

© Бизин Н. И., 2021

© Алисторус, 2021

Николай Иванович Бизин

Вечное возвращение

© Бизин Н.И., 2021

© ООО «Издательство Родина», 2021

*Кто пишет кровью и притчами, тот хочет, чтобы его не читали,
а заучивали наизусть.*

Заратустра

Чёрное Солнце взошло над Санкт-Петербургом и (поначалу) никого не потревожило: и тучи оказались низки, и мелочный дождик прилипал к ресницам. Но неизбежное явление царей и цариц, катастрофы и рождения богов не могли (бы) остаться незамеченными. Вот и эта грозная предвестница таковой не оказалась.

Раз (или нота до) – и вялая гладь Обводного канала залоснилась и вспучилась: могло показаться, что только лишь от влаги небесной, посторонней и скользкой.

Два (или нота ре) – ещё и на мосту через канал случайный и пьяный прохожий долго переругивался с каплями и удачливо от них уворачивался, и даже дивился чему-то (невидимому нам); но – в результате и он неизбежно был дождём изгнан и поспешил себе в укрытие.

Другие последствия нарастающей угрозы проявились ближе к вечеру. Тогда пришло время другой гаммы (от альфы до омеги) – к этому времени дождик уже прекратился (как бы за ненужностью); тогда в толпе людей, по обыкновению своему равнодушной и (как усталый алкоголь) пенной, из неживых подземелий метро на свет Божий поднялся мужчина на вид лет тридцати.

Этот выходец из подземелья ступал по земле чрезвычайно легко. Но иногда (даже) он позволял себе задумываться. И если бы сие незначительное событие происходило летом, а не в самом конце октября, то глаза особо причастные обязательно бы различили рядом с мужчиной две отбрасываемые им очень яркие тени.

Глаз таких пока что поблизости не оказалось (по счастью – ещё не было у них повода здесь оказываться); выходец из метро сразу повернул к каналу и (не без колебаний – словно самую настоящую Лету) пересек его.

Опять же – особо причастным участникам событий могло (бы) показаться, что и непреодолимые ограждения плоских краёв земли словно бы удалось ему перешагнуть. Но человек не стал останавливаться (на этой иллюзии).

Показалось – что вообще всю приземлённую реальность оставил он позади. Что достиг он (уже на другом берегу – когда мост миновал) вовсе не обрушенной вовнутрь коробки универмага (в постперестроечные годы сразу же сгоревшего и в описываемое мной время всё ещё не отремонтированного), а самого полного и настоящего костяка Вавилонской башни (с допотопных эпох единственно сохранившегося); сам он при всём этом остался вполне себе человеком из плоти и костей.

Согласитесь – чем не символ всей человеческой эволюции (по Иоанну Богослову).

Привидения-руины – (прокопченные и огромные) его ничуть не утрашили, он пошагал дальше. Взгляды сторонних людей, словно подошвы по тоненьким инистым лужицам, скользили мимо него и не останавливались на нем.

А меж тем – окружающий мир уже туго стягивался вокруг него (и не только) и уже начал бурно (хотя безо всякой помпезности) изменяться и сдвигаться в непроходимые области сна.

С этой самой минуты тень от обычного светила (не будь оно столь по осеннему покрыто жидкими тучами) стала бы стремительно у его ног уменьшаться.

В свой черед тень вторая (от совсем другого светила) как-то очень быстро разбухла и принялась напиться подступающим сумраком вечера. Но (на этом) тень не стала останавливаться.

Она ничуть не скрывала намерений: стремительно вырасти и обязательно включить в себя все остатки первой тени – в чём и преуспела: вторая тень окрепла и скоро превзошла их первоначальную (и взаимную) вселенскую мощь.

Она и далее продолжилась: не скрывала, что собирается распахнуть совиные крыла полусна на полсвета. Сам же выходец из подземелья казался высок и был молчалив, и называл себя без затей: Ильёй.

А ведь когда-то он всё же позволял себе шутить с именами: подчёркивал, что не следует его путать с со-временным и со-звучным ему ветхозаветным пророком; но – теперь (уже на другом берегу) эта лёгкость человеческой мысли стала ему не актуальна: актуальней оказалась визуализация (каждой одушевляемой вещи).

В полном соответствии персонифицированному месту действия (Петербургу) и столь же персонифицированному времени (питерской осени) одеянием ему сегодня взялись послужить и джинсы, и куртка, и кожаное кепи; но даже и эта мелочь внешней стороны сегодня оказывалась не просто важна, а архиважна.

Так уже бывало – с лопнувшей струной у волшебника Паганини: звучать может даже не она сама, а её прошлая целостность либо нынешняя разорванность.

И даже гений её звука – как отдельная (и от струн, и от исполнителя) сущность – может стать не производной плохо (или хорошо) настроенного инструмента, а персонифицируясь в каждом отдельном (прошлом или будущем) его бытии; или даже восходя ко всему мировому оркестру.

Сущность может стать более чем персонифицирована. Может (даже) получиться так, что в дальнейшем нам вообще придётся видеть только проявления личностных начал того или иного звука; или ещё какого явления или вещи.

Здесь – вспомнился легковесный субчик на мосту между мирами: почти что отказавшись от внешнего и едва ли не перекинувшись в тончайшие струны мирового созвучия, он словно бы понял, насколько (производная от прометеевой скалы) он не полон! И что эту свою неполноту может он восполнить только коммуникацией со всеми прочими (такими же – полностью неполными) персоналиями.

Например, каплями дождевыми.

Для этого необходимо немного: признать, что и капля есть личность (с которой следует договариваться – и о цене истины, и о достоинствах или недостатках лжи). А вот то, что поименованный (сам собою) псевдо-Илия не стал бы ни меж капель ходить, ни зонтом от них прикрываться, объяснялось ещё проще: не трогали его капли.

Сами. Даже. Не-до-говариваясь между собой (какова гамма!); точно так же – Илья вполне себе мог (даже глаз не прикрывая ладонью) в упор посмотреть и на Чёрное Солнце: слепота не посмела бы ему угрожать! Вот только под ноги смотреть ему представлялось сейчас важнее.

Иногда, впрочем, он озирался на мир. В такие мгновения его лицо преображалось, подобно лицам великих артистов в минуты подлинных озарений или невиданных прорицаний – когда собственные их черты словно бы становятся мелки и не важны, а как живая ртуть подвижны.

Я (как рассказчик этой истории) даже сказал бы, что черты сами по себе были персонами. Суть происходящего: не как мимическое зеркало становилось тогда лицо Ильи, а предъявляло себя миру именно что ни с чем не уравненным ликом Илии – каждая его черта словно бы становилась пророчествующим ртом, произносящим миру своё «Бог жив»!

Который псевдо-Илия – далеко отстоял от своего ветхозаветного визави: так неизбежно появляется перед его именем беспощадная приставка «псевдо»! Означающая одновременно и

сходство, и различие персон; так и в дальнейшем будет происходить с теми персонами нашей истории, кто перекидывается из природы в природу.

Кстати – ещё о том давешнем самом себе пройдем. Он и путался, и вербализировался с питерским дождиком по весьма похабной причине: не мог он всей плотью пройти между капель! А ведь даже черты на его обычном лице (когда он словно бы смотрел сквозь тучи) порывались стать тождественны очертаниям Первородства.

И каждая такая черта (обязательно – по отдельности) словно бы величала себя, именно что именуясь и уступая место почти что исконной черте (прежде сокрытой чуть ли не за горизонтом); да и был этот легковесный человек, что называется, поэтом! То есть – представлялся себе не совсем бескрыл и не случайно оказался на мосту.

То есть – не случайно оказывался столь беспомощен в обретении Первородства. Ничто, кроме как осознание своего ничтожества пред Вечностью, не дарует версификаторов Слова бессмертием.

А ведь поэт – не мог (бы) этого не прочувствовать! Но раздвоения в природе солнечного диска ничем не угрожали – лично ему (как личности); если даже эти (тектонические) подвижки когда-либо могли бы вообще нивелировать весь человеческий род – и что с того именно ему?

А ничего! Он всего лишь оказывался буен (словно бубен шаманский) и с самого утра принялся беспокоиться, потому – этим вечером порешил поездом из Петербурга в Москву перебежать «за карьерой»!

Но какая-то карьера поэту – коли мира не будет (причём – от слова «совсем»)? Впрочем, с поэтом мы еще повидаемся, подобная чувствительность не остается безнаказанной; так называемая невинность, известно, наказуема гораздо беспощадней, нежели умная вина.

А вот Илья сейчас (хотя – невинною глупостью не грешил никогда) если и озирался, то совершенно без страха. Да и смотрел на все происходящее как будто с безопасного расстояния, от самой души; причём – цвета глаза были ослепительного и бестрепетного (то есть серого), и словно бы оказывались готовы наложить на весь мир свое «вето».

Меж тем, смеркалось. И по всему Московскому проспекту, и в остальном мироздании. Повсюду запыльхали рекламы, потянуло их ароматизированным гальваническим, как в неживых подземельях, дымком (великий Рим разлагается, но как пахнет).

Этот дым (совсем как давешняя дождевая пыль) принялся колотить и отводить глаза; тогда и оправдалось внимание Ильи к реальной (под ногами) земле. Хотя – (вспомним воду канала) реальную землю покидал он уверенно.

Стайка бледных подростков-гаврошей вдруг (эдак – сиреновой дымкой) вытекла из подворотни и обступила его (подобно кольцу сигаретного дыма из сопливой ноздри), принудив задержаться; причём – окруживший нас сумрак тотчас переполнился полуестественными лицами-масками.

Причём – все эти личины голосили ультиматумом-просьбой даже не об одной, а сразу о всех его сигаретах.

Показалось – дымчатый полумрак улицы (как давеча одна из солнечных теней Ильи) прямо-таки желал пополнения. Разумеется, никакой гуманитарной глупостью (или даже приходом бравых прохожих Илье на подмогу) реальность себя не отяготила; хотя – до последнего (то есть крайнего) мига прохожие вполне беззаботно увивались вокруг; как-то сразу и вдруг их не стало.

Ультиматум Ильей был отвергнут (что в свете дальнейших путеводных событий окажется разъяснено) простым пожатием плеча; подростки с готовностью принялись ухмыляться – казалось бы вполне белозубо; но!

При всём при этом – легко заменяя собой прежние толпы вечерних людей. При всём при этом – когисто-кошачьи клубясь. То есть – гавроши принялись переминаясь как бы на месте; но – на самом-то деле перетекали-приближались-кружили, совершая откровенное допотопное

камлание перед первобытно-зачарованным изображением (человека даже не видели) будущей жертвы.

Обставлено всё оказывалось, как перед символическим поражением воображаемой (и наиболее желанной) дичи ритуальными копьями! Но – (реально) никаких действий камарилья так и не предприняла: знать, смысл их появления заключался не в овеществлении магической смерти.

Но и сам «псевдо-Илья» (окончательно утвердим это определение) их назойливый рой вовсе не спешил разгонять (причем – не только потому, что сие бессмысленно); напротив – поочередно окинув всю лихую компанию взглядом, он равнодушно достал из кармана нераспечатанную пачечку какого-то курева.

Сам он в быту «табачищем» брезговал. Потому – повертев бессмысленные сигареты туда-сюда в пальцах, он столь же равнодушно спрятал их обратно. Потом – задал разъяренным гаврошам вопрос.

Его интересовал некий спортивный клуб. Причём – обязательно поблизости. Причём – название клуба известно ему не было. Однако он уверенно помянул приметы заведения, разумеется, весьма скудные: внешнюю неброскость и обязательное скопление у входа иномарочных автомобилей, а так же бестрепетное посещение клуба женщинами, причем – не для суетных утех.

Подростки переглянулись, причём – даже не лицо качнулось к лицу, а ухмылка к ухмылке; причём – на их бледных и влажных зеркалах лиц стали туманиться и проясняться некие (не менее отдельные от лиц) выражения! Одно за другим, подобно калейдоскопической смене трагедийных греческих масок.

Как бы растерянность, как бы понимание и непонимание, откровенное злорадство и – сразу же демонстративное лукавство! Но как и (не) следовало ожидать, ответ был все же получен.

Кто-то самый бойкий – ещё одной переменной лица (как халдей в ресторации), то есть – подчеркнув неуместность поведения незваного гостя и неопределенность сообщаемых примет (позволявших самые привольные истолкования), скупно сквозь зубы соизволил сообщить:

– Это «Атлантида», наверно. Там еще занимаются этими новомодными восточными драками.

Остальные гавроши с ним тотчас согласились и (объясняя дорогу) наперебой зашелетели указаниями; они даже (хотя с некоторой заминкой) вызывались наглеца проводить (всею дружною группой).

Но Илья сразу же молча прошел меж них (стоявших очень плотно); а ещё – он сразу же (пока они озирались) оказался совсем-совсем далеко, и мимолетная связь Атлантиды и Востока оказалась не проясненной.

Разве что паутинки их взглядов, конечно же, прилипли к его куртке. И даже за ним потянулись (пробуя приобщиться к грядущей над пришлецо́м расправе). И кое-кто в предвкушении сдвинулся с места, сделал шаг или два.

Но Илья не обернулся; вообще – больше он нигде не задерживался и скоро с проспекта свернул (на одну из параллельных проспекту улиц), потом прошёл и далее: во двор и мимо рядами выстроившихся автомобилей – прямо к металлической двери в полуподвал. Над оными воротами скромным шедевром каллиграфии сияло неоновое имя затонувшего материка.

Разумеется, дверь оказалась не заперта. Он шагнул к ней и вошёл, и – встретила его тишина.

Которая тишина (персонифицированно) оказывалась этой дверью (персонифицированно) отделена и от гула сердечного (персонифицированного), и даже от здешнего яркого (почти что ультрафиолетового) освещения; потому что – и сама тишина оказалась повсеместна и отдельна (и – ослепительна).

Разумеется, тишина (даже такой – ослепляющей) с очами псеудо-Илии совладать не смогла бы; но и сами по себе глаза Ильи могли не только различать – а ещё и слышать могли, и обонять, и осязать (на сырости бетонных стен) все до единой высохшие дождевые слезинки; причём – каждую по индивидуальной отдельности.

Причём – взглядом пройдясь и вглубь, и вкось. словно бы лучиками расширяясь и (одновременно) одушевляясь. словно бы распадаясь (хотя и пребывая в удивительном единении) – совсем как спектр великого Исаака Ньютона! Но ведь и речи пока нет о его третьем законе.

Итак, Илья вполне себе мог видеть, причём – всё и сразу: перед ним легко открылась короткая (по дантовски винтовая) лесенка, шелковым полукругом сбегавшая вниз. Илья шагнул по ней (и только тогда дверь масляно запахла за ним – как драконьи челюсти с мягкой резиной в зубах).

Илья необратимо покатился по спиральному горлу этой лестницы вниз (как в горле пустыни синайской последний глоточек воды). По прежнему глядя лишь под ноги. Но как будто заранее зная, что сейчас же увидит.

Эти стены, что от пола и до потолка затянуты самой настоящей свиной кожей яркого и кровавого цвета. Эта кожа, что вполне бы могла быть даже и человеческой; почему бы и нет? Причём – не только после всем известной преисподней Освенцима, а и более ранних (допотопных и райских) островов Океании.

Точно так же не мог он избежать высланного зеркалом потолка (что вверху, то и внизу). Потому что – драгоценный паркет под ногами и сам почти что зеркален от знойного воска (словно бы лёд под ногами).

Раздевалка и душ – это слева. Сам спортзал и ещё какие-то стандартные двери – это справа. Воздух прохладен и аристократичен, ни малейших запахов пота и плоти – и нигде никого из людей (как немота простора перед близкою бурей) или – даже уже нелюдей (ибо буря изнутри происходит человеческой природы).

И вот – уже видится, как грядёт (изнутри) эта буря! Уже видится, как буря закогтит всё нутро человека. Который – не схлопнется, а подхватится через годы и вёрсты (и сквозь мышцы и кости) – напрямик в поджелудочек мира; буре только бы не проломит этот лёд Атлантиды (ни вверху, ни внизу).

Потому – (как по тонкому льду) он ступил по паркету. Потому – понимал иллюзорность такой переправы. Лишь шагнул, и (из внутренней жизни вселенной) явилась первая буря: запахнулась одна из дверей, из проёма которой (отделяя от голоса голос – как от волоса волос) словно бы донесли до него шевелюры волос-голосов.

Ещё сделал шаг – тотчас из распахнутой бездны дверей показались компактно сплочённые люди (что тотчас принялись распадаться на отдельности взглядов и чувств). Эти люди (почти не касаясь паркета и следуя следом за голосами – при этом чуть-чуть отставая) закрубились как атомы или полёты зрачков.

Они – сразу же переполнили полуграалеву чашу событий. Тотчас третья буря явилась: при виде Ильи разговор не прервался (много чести незваному гостю!), но стал как по люту тормозиться; потом – (через одно или два сердцебиения) шесть пар глаз обратились-таки персонально к неуместному здесь пришельцу (словно бы веки вдруг сузились у каменных глыб Стоунхенджа).

Как будто бы – некая особливая вечность взглянула на другую, отличную вечность.

Казалось бы – таких различений не бывает в реальности мира (хотя – в остальном мироздании такие и даже большие разделения на вечность и вечность случаются); потом – прямо-таки наяву (понимай, настоящее чудо) у явившихся нам аборигенов на их бугристых и глыбистых лбах принялись прирастать и копиться морщины (что отчасти напомнило историю теней от Чёрного Солнца).

Словно бы (в каждой морщине) кричала душа каждой мысли. И от этого крика рождалось подобие каждого возможного и невозможного эха, причём – весьма неприятного свойства: персонифицируясь, эхо тотчас зазмеилось по коридору, напрямик направляясь к Илье.

– Кто такой? Как посмел и сумел? – прозвучало не слышно и даже без слов; но услышали все.

А Илья – всё услышал (ещё до «прозвучания»). Потому и ответил (точно так же, в словах не нуждаясь) почти в унисон:

– Дверь не заперта.

А после легко усмехнулся и отметил их колючие взгляды, причем – уже друг на друга: небрежение, вестимо! Кто виновен?

И привиделся взлет капюшонов змеиных, и даже горькое ядоплевание привиделось; запредельно был ясен их искренний страх с угрызением: о небрежении учителю станет известно, и всем здешним адептам непременно придется наяву погибать от стыда!

Учитель? Да ещё и у таких гордецов первобытных? Очевидно (пока только лишь очами пророка), что Илья здесь ни в чем не ошибся. Причём – не потому, что не только вчера или завтра, а все тысячелетия вокруг у него не было сил ошибаться.

Да и времени не было; всему миру (быть может) ещё только предстоит перестать, а времени уже нет вообще.

Наконец – легко отделившись от группы, к Илье подлетел (как бы оседлав крылья змеиного эха) человек особенной внешности: коротконогий и по-обезьяньи рукастый, и торсом гранитным вполне мускулистый; причём – в прошлой своей ипостаси явно умелый спортсмен.

Причём – явно из тех, что (в тогдашние годы, карьеру свою завершая) колобками докапались до успешного бандитизма.

Вместе с тем – очевидно, что коротконогий ещё не совсем оскоти'лся (они даже бывают умны); очевидно – что был он (как галька морская) весьма пообтёсан в очень подвижной среде; но – всё равно всё более и более округляется от радостей жизни, потребляемых с тщанием (и ведёт это к полному уничтожению).

Вместе с тем – очевидно, что особенным образом этот необратимый распад в данном конкретном субъекте оказался на самом краю «остановлен»; причём – «остановили» его не от нашего края (человеческой) пропасти, а совсем с другой стороны запределья.

Впрочем – в этом раздвоении тонких влияний (с той или другой стороны от гибели) тоже нет ничего необычного: ведь ежели мир наш куда-либо идёт (пусть даже – от конечного бытия к бес-конечному небытию), то и движется он сразу же ото всех сторон Света и Тьмы (что бы под этими понятиями в виду не имелось).

И если «темная» сторона «настоящего» бытия рукастого коротконогого спортсмена была в те годы всем очевидна, что подразумевало не менее очевидным катастрофический финал его жизни! Разве что – в данном случае случилось некое (безразличное и весьма персональное) чудо.

Неизбежную гибель «спортсмена» удалось повернуть, причём – не только лицом к осмысленному и имеющему значение существованию, а ещё и к некоей мыслительной власти над оным (вновь припомнились тени: их осмысленные прирастание и убытие) К тому же (благодаря такому «регрессу» – от конечной смерти к начальной жизни) сейчас человек выглядел выделенным (или даже выделанным – ибо спортсмен) из глади повсеместного проживания.

Он словно бы продавливал плоскость реальности. Или даже оказывался совладельцем незримых объёмов «той стороны» невидимого, которая была «на его стороне». Отсюда и великолепное уродство рукастого.

Если (бы) совершенная красота могла (бы) воскрешать из мёртвых, то и совершенное уродство несомненно (и без всякого «бы») могло делать мёртвое живым. Разница здесь в некоторой тонкости произнесения (как, например, вещ-щ-щ и вещ-щ-е-е). А так же в том, что

стило-стиллет (для написания Слова или убийства оного) и инструмент (для делания Вавилонской башни) берут именно в руки.

Эта тонкая разница не была различием добра и зла. Но оказывалась их единством (и даже кровным) родством; таким – неуловимым (сущим в невидимом мире); причём – нерушимым, как скала Прометея! Таким, как тонкости различения людей и «всё ещё людей» (механистически вышедших в свехлюди, демоны или боги).

Представший перед Ильёй человек (ото всех отдельный и со всеми схожий) оказывался со всеми людьми именно в таком (странном – ненастоящем, но несомненном) родстве.

Родстве не то чтобы крови (и не то чтобы духа), а некоего понимания сути понятия homo sum. Это было неправильно – с точки зрения человека как животного с рассудком и душой; с точки зрения человека как недо-бога состояние это было желанным.

Такой экзи'станс предполагал количественное изменение всех качеств и сил человеческих – вместо того чтобы стать даже не единственными качеством и силой, а естественным единством (стать Первородством) всего и вся.

Бытие рукастого бандита виделось псевдо-Илии именно что неправильным псевдо-бытием; разве что – находилось в родстве с недостижимой правотой настоящего бытия.

Казалось – подобное родство должно быть у нас (у людей) только с Адамом и Евой; казалось – лишь благодаря такому родству «все мы» – тоже «всё ещё люди» (в какой-то своей частице), бесконечно стремящиеся к своему Первородству.

Но о главаре бандитов нельзя было с уверенностью сказать, что он «всё ещё человек» – какой-то частью он остался в миру; нечто от deus ex machina в нём неизбежно было (впрочем, как и в любом человеке) – но и от человека в нём осталось одно уникальное качество! Он – «был таков».

А ещё – «не был не таков» (стихийная воля к власти не стала ему взамен всего остального – отсюда, кстати, и некоторая перекормленность); казалось – ещё немного, и он бы вообще из своего тела вышел и ушёл (кстати, не обязательно в ту сторону, которая его на свете держит).

Таким образом он оказывался и больше человека, и меньше. А уродливым он виделся потому, что полностью «ветхим Адамом» уже не был; но (как тень от светила) стремился к нему прирасти – приобретя свойства Первоматерии: согласитесь, что может быть желанней для deus ex machina, нежели довести возможности версификации своей реальности до бесконечности?

Но для этого следует отказаться от очевидности: ведь бесконечность – тоже число (количество, а не качество).

И если Адама (или Еву) взять точкой отсчёта, тогда они – падшие в количественный мир бесконечности Перволюди (сущности неизмеримого качества), а мы так и не нашедшие мира дети их не нашедших мира детей.

Генетически или кровно мы способны заглядывать дальше жизни и жить дольше смерти (отчасти и об этом вся наша история); это наши способы бытия.

Избери первое, и станешь совершенно красив. Рукастый предводитель бандитов избрал второе (и хорошо это понимал). А вот в каком качестве здесь пребывает Илья, понять рукастому не удавалось.

Впрочем, об этом «спортсмене из людей» (в чём-то даже не deus ex machine, а machine ex homo) сразу можно было сказать что-то определённое: перед нами один из тех, кто не просто претендует быть больше себя (в видимом), но и реально чего-то достиг (в невидимом).

Сейчас перед Ильёй стоял человек жизни «с другой стороны»: не ставший так называемым добром, но и не оказавшийся так называемым злом. Он был горд и уверен, что всегда может пройти посреди зла и добра. Используя те или иные возможности и избегая тех или иных последствий.

Человек был лют и радостен в своей наивности.

– А кто не наивен? – сказал о себе Илья.

Говорил он о себе (и только себе), и слышал себя – только он сам. Никому из людей (или всё ещё людей) услышать его было бы невозможно. Ведь он, отдававший зла и добра и прекрасно осведомлённый о последствиях любого с ними двурушничества, видел сейчас перед собой именно что двурушника: говорить с ним было не о чем.

Хотя он (псевдо-Илья) и сам собирался проделать то, что совершить невозможно. Потому напрасно он видел перед собой всего лишь бандита. Пусть и полагающего возможным искупить не искупаемое. Для чего положившего себе стать инструментом для извлечения из человеческой мякоти нужного ему миропорядка.

Принявшего на себя только те железные правила, что придавали всему его бытию некую форму резца. Для него бытие означало: ему можно всё! На что хватит сил у того, кто направляет резец. Резчик за всё и ответит (насколько на ответ у него сил хватит). Ничего нового под луной.

Прекрасно понимая напрасность своего мнения, Илья повторил для себя:

– Я видел ангела в куске мрамора и резал камень, пока не освободил его, – процитировал он слова Микеланджело. – Даже если бы я захотел стать таким резчиком (и готов был за всё отвечать), где мне найти инструмент для удаления лишнего?

Сказал и улыбнулся своей заведомой глупости.

А потом на эту заведомую глупость пришёл не менее заведомый ответ (тоже никем из людей неслышимый).

– А захочешь ли подвергать себе вивисекции? Инструментом для которой можешь быть только ты сам.

– Не могу. Я смертен.

С кем он говорил? Глыбообразный главарь (сам казавшийся неоконченной скульптурой того же Буонарроти) вряд ли смог участвовать в подобном дискурсе. Очевидно, что ещё не все действующие лица были предъявлены.

Так же очевидно, что ни содержание, ни форма дискурса не зависят ни от местоположения его участников, ни от времени их жизни и смерти.

– Ты смертен, потому что так решил.

– Выходи, – сказал Илья.

– Перед тобой и так выходец из людей, – невидимый говорун имел в виду рукастого, – А сам я выйду, когда меня позовут люди.

Невидимый собеседник заведомо исключал Илью из числа людей.

– Я человек.

– Ты сказал!

Невидимый повторил слова Христа (по одной версии перед Синедрионом, по другой – перед Пилатом; третьей – самой доподлинной – версией было молчание). После чего подвёл некий итог дискурса:

– Если ты человек и не хочешь быть резцом самого себя, тогда твоя смертоносная возлюбленная есть средство, чтобы удалить с тебя лишний мрамор.

– И это тоже, – ответил Илья населянту невидимого мира.

Что есть этот мир невидимый? Чтобы объяснить его, придётся обратиться к образам банальным и поэтическим: например, к образу весны. О которой можно сказать всё что угодно, кроме одного: что её нет на свете.

А меж тем это именно так! Она настолько повсеместна, что присутствует всюду и является нормой, и (словно бы) перестает быть тем, чем должна быть: воскресением воскресения и смертью смерти. Если всё вокруг становится вершинами и глубинами, перед нами составленная из них гладкость.

Так можно сказать о воздухе: его нет, поскольку он везде.

Настоящая весна (и настоящий воздух) повсеместны, а преходящая весна (время года) – краткая иллюзия повсеместности; точно так и санкт-петербургским Атлантам на улице Миллионной можно сказать: конкретного небесного свода нет просто потому, что вы его везде (а не только на улице Миллионной) держите.

И воздуха нигде нет – именно потому, что вы везде им дышите.

Но всё это не относилось к рукастому бандиту, что стоял перед Ильей. Впрочем, и на него распространялась невидимая повсеместность: стоявший перед Ильей головорез не задохнулся бы и в космосе (как в иллюзии безвоздушного).

Но не потому, что сам обернулся изменением неизменного. Да и не им были произнесены слова о резце.

Просто и у коротконового бандита был свой учитель. Открывший ему бытие там, где нет смерти (просто потому, что она повсеместна) и где нет жизни (просто потому, что не смертному её отнимать); в чём-то этот учитель сделал своего ученика неуязвимым, а в чём-то ненастоящим.

Или сам ученик смог стать только тем, кем стал.

Что есть настоящее? То, что изначально. А ненастоящее есть отпадшее от настоящего. Падшая сущность, сохранившая память о должном и (благодаря этой памяти) обретшая некие ограниченные возможности в невидимом.

Но как настоящее, так и ненастоящее – сродни всему и (потому) они неистребимо повсеместны; ни от того, ни от другого нельзя уйти. Да и никто не пытается со времён (пожалуй) новых.

Потому – не будем от времён новых уходить, а раз и навсегда утвердим: ни одно имя здесь не произносится впустую.

«Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом.» (Быт. 6:9). Здесь говорится о его праведности, но умалчивается о внешности; и это всё тогда, когда поверхность и есть почти всё, что необходимо для выживания в мире.

А ведь Ной тоже вполне мог бы оказаться столь же красив или столь же уродлив – ненастоящими красотой и уродством (красотой или уродством поверхности: видимости лишь «для рода его»); точно так же «спортсмен» был (или – мог быть) праведен в лишь своих глубинах, если можно так сказать.

Но что нам до такой праведности (и до его глубин)? У нас есть своё.

К тому же – пора отделяться от слова «спортсмен»: оно лжёт. Не разъясняет – за какие-то такие пределы (уже в этом мире) возможно человеку «шагнуть» не только душой, а ещё и телом; например – тот же самый предьявленный нам «спортсмен» уже более чем пограничен в этом миру, нежели нам, здешним аборигенам, возможно!

Рукастый и мышцами, и волей продавливая себя в невидимое. Навязывает себя невидимому. И ведь он прав в своём праве – невидимому следует докучать. Иначе – оно «не замечает».

Что-то в этом есть допотопное: строить свой Ковчег, городить свою «диолену» бочку тела. Потому какое-то время «спортсмена» я иногда буду величать псеудо-Ноем. Хотя – до Ноя ему столь же далеко, как мне до Сергия Радонежского (тоже, не в меньших масштабах, прародителя моего этноса).

Потому я так же буду называть его рукастым (тоже хорошее определение).

Итак, псевдо-Ной – весь в «роде своём» и в своём (и для себя) совершенном уродстве, а так же – в своём (и для себя) понимаемом будущем: каждое его движение имело своим продолжением недостижимое совершенство несовершенного (такой вот внутренний абсурд и внутреннее единство); назовём это качеством великим недотворением или недостижением.

Прямо ведущем к выводу: наш мир не-до-творён!

И хорошо, что не получалось у него посмотреть на Илью так, как одна горная вершина взглядывает на другу. Тем более что вершины лишь мнятся (себе и друг другу) отдельными.

Между вершинами всегда есть связующее их пространство, особое и тонкое, в которое умелый человек способен себя поместить.

А зачем ввидимому человеку помещать себя помещать в невидимое пространство? А затем, что только там изменяются сами перемены. То есть – всё только для-ради невидимой власти над видимым миром (и для тонких влияний на внешность реальности).

В этом пространстве нет измены себе и другим (мечта всех иуд). В этом пространстве изменения повсеместны настолько, что бесчисленность версификаций какой-либо архимедовой точки опоры приводит к отсутствию всех точек опор: здесь возможно жить немного более жизни.

Или умирать лишь затем, чтобы стать мёртвым – немного более смерти.

Подошедший к Илье псевдо-Ной не оказывался непредставимо уродлив. Не оказывался и совершенен в несовершенстве. Ведь его несомненное (но не запредельное) уродство оказывалось столь же не завершено, как и любая весна.

Этому его уродству не приходилось себя ни утверждать, ни оправдывать. Будучи жив или мёртв, этот уродец всегда оставался ни жив и ни мёртв: он всегда был более (или менее) конкретного определения. Если человек этот хотел быть живым, он жил немного более жизни.

А если умирал, то немного более смерти.

Разумеется, при всём при том был он живым и в самом обычном смысле; но смысл всей этой истории в том, что есть еще и самые древние смыслы. Пора было их переводить на современный язык. И в то же самое время пора было заканчивать длинный экскурс в прошлые подоплёки нынешнего бытия.

Что человек и проделал, задав законный вопрос:

– Вы к кому? – прогремел человек.

Причём – так прогремел, что совсем невозможно было различить: сам он владеет громами, или – им грома владеют. Ведь каждая жизнь (или та, или эта) должна настолько полностью в саму себя воплотиться – чтобы ничего, кроме целостной сути, в жизни совсем не осталось.

Чтобы суть и вобрала (в себя), и пропитала любые возможные жизни, сбывшиеся или не сбывшиеся.

А вот за какой своей сутью явился в Атлантиду Илье, наглядней станет, если я опять назову его псевдо-Илия! Который в Атлантиду и явился, пребывая (ни много, ни мало) в облике «новозаветного» Ильи-Иоанна (доступного смерти).

Который облик, в свой черёд, и сам является сутью любой сути и душой души; что он делает делает здесь в день (и миг, и эпоху) восхода Чёрного Солнца? А ведь он уже дал ответ: ищет женщину!

Но зачем человеку женщина? А (меж тем) ведь это ключевой вопрос мироздания! Вспомним древние мифы: в мироздании жизни бывает живой либо мёртвой. Вдаваться в их наглядное различие сам я не буду, лишь напомню общеизвестные факты. Если жизнь есть вещь – это мёртвая жизнь. Если жизнь есть вещь – это живая жизнь.

То есть к телу добавлена душа. А к мёртвому миру – Вечная Женственность.

Причём – всё это имеет очень реальные проявления. Ведь и мёртвая жизнь, и живая могут быть волшебны (продвинуты в невидимое, об этом сказано выше); но – жизнь волшебная остаётся живой, доколе способна исполнять свою суть.

Сирены (к примеру) должны завлекать моряков, а ужасные Сцилла с Харибдой должны сокрушать корабли.

А вот ежели кто из волшебного мира своей сути хоть единожды да не исполнит, перейдет из жизни живой в жизнь мертвую. И произойдут с ним при этом необратимые изменения облика: волшебная красота станет волшебным уродством (сродни тому уродству, которое продемонстрировал к Илье подошедший рукастый).

И нет в этом никакого чуда. Что (само по себе) является доподлинным чудом. Которое – умом понять невозможно. Зато его причину всегда можно (но лишь самому себе) объяснить на пальцах.

Просто: раз уж человеку дарован мировой посыл – стать изменением мира (его повсеместной весной), именно такое происшествие с ним (не делая его мифическим богом) переводит его в категорию сотворителя мифа.

Наделяет способностью неуловимого над-чувства.

Которым сверхчувством человек (или – всё ещё человек, или – не человек) оказывается сопряжён с незримым миропорядком, в котором сильны лишь души. А тела не имеют такого значения или самосознания, каким (персонифицируясь в каждом своём прожилке) хотели бы обладать «боги из машин».

А если человек (или ещё какое создание) вдруг окажется лишён таких сопряжений (по причине неисполнения предназначения), с ним просто-напросто обязаны произойти необратимые перемены (просто: перейдёт из жизни живой в жизнь мёртвую).

Вспомним участь неких скал, громогласных и гордых: Одиссей миновал их, с той поры скалы недвижны.

Точно так же Сирены: их необратимо услышав, всё ещё жив Одиссей. Сирены, однако, не умерли; но! Лишились волшебного голоса, стали всего лишь визгливо-навязчивы. Хотя некую власть над людьми сохранили: отсюда так много в миру лжепророков и прочих бесноватых вождей мирных стад.

А так же помянутый выше учитель бандитов; кстати, не его ли был голос в невидимом мире? Если так, то в реальное наше пространство проскользнула сама ирреальность (существо сновидений); очевидно, что этим существом никак не мог быть зримо явленный нам харизматичный псевдо-Ной.

Но нет, не его был голос. Более того, не удивлюсь, если смысл явления псевдо-Ноя заключается лишь в напоминании о «праведности в роде своём». И что большего смысла во всей этой истории (а так же в истории мира, которая «яз есмь альфа и омега, первый и последний») у него нет совсем.

Конечно, он гордо предстоит перед Ильёй; конечно, он смеет властно псевдо-Илию вопрошать; ну и что? Конечно, псевдо-Ной двулик бесконечно; ну и что?

А вот что: корни предъявленной нам псевдо-аттической трагифантазии (сновидения или реального кошмара) глубоко погружены в День (Сотворения) Первый, а рассказывать ее мне приходится на языке Дня (продолжения) Восьмого; и язык мой не окончателен (не красив и не уродлив), хотя и продавлен в невидимое (как и все здесь собравшиеся)!

Но прежде чем в мире новых смыслов «окончательно» распрощаться с псевдо-Ноем, поговорим и о нём (дабы не ныл о том, что «сиюминутная» человеческая истина авторитарна – он ведь прав: «настоящая» истины не только есть автор, но она ещё и «анонимна» – и понимайте как хотите); итак, псевдо-Ной!

Человек он был умелый (интересная аллюзия: homo habilis); если и был он настолько умел, чтобы быть и казаться – везде (и – на дне ледяном Атлантиды, и – на тонком паркете спортклуба), то ещё и совмещал в своей внешности несколько явных нелепостей: виделось – был он одновременно и коротконог, и высок.

Гранитоподобные плечи его увенчивала (поскольку почти что без шеи) округлая небольшая башка (виделось – головой называться ещё не доросшая).

Виделось – его бёдра вдавились в голени: уж очень его сытый и – многомерный торс был неподъёмен и оказывался чуть ли не вдвое длиннее его ног (или ноги являли лишь видимую часть – остальное сокрылось в ирреальном); а уж рукаст он был словно бы какой-никакой человекоподобный «обезья'н» (только-только из глины вылезший).

И хотя униформой (то есть – дорогим спортивным тряпьем и обувью для тренировки) от прочих аборигенов не отличался, на его граненом челе явственно проступала каинова печать маленькой власти.

Которую он не скрывал. Которую и проявил. Но только тогда, когда ещё двое не менее гранитообразных выдвинулись следом за ним и замерли за спиной рукастого (готовые не рассуждать), человек свой вопрос заретушировал безразличным и утвердительным пояснением:

– Вы к кому? Я вас слушаю, – вот так это (с не произнесённой добавкой «очень внимательно») было выговорено. Причем не то чтобы сразу иссечено из гранита; просто сказано с изначальной претензией быть всему неизгладимой мерой; вопрос был вот о чем: что(!) ты есть и что(!) я смогу в твоей душе почерпнуть.

– У вас в клубе занимаются женщины?

– Да. Шейпинг. Кто конкретно вас интересует?

– Имя женщины Яна, и шейпинг не ее профиль.

– И?

В ответ Илья улыбнулся. Тогда – в ответ на улыбку псевдо-Ной от Ильи отвернулся! Причём (словно бы) не демонстративно и (как бы) не без причины: над было дать какие-то указания подчинённым; конечно не имя Яна тому прямой причиной.

Но замечу, что имя женщины псевдо-Илия тоже произнёс «с некоей не определяемой добавкой»: дескать, имя её перемены, и (быть может) в этой своей ипостаси захотела она мишуры в виде шейпинга; сам, впрочем, ни на йоту не верил в пустые хотелки.

– И? – безо всякого выражения повторил псевдо-Ной.

– Каждую среду и пятницу она посвящает боевым упражнениям. Не нуждаясь ни в каких упражнениях, но по давнему своему обычаю.

– ...?

Илья приподнял бровь. На этот раз вопрос прозвучал без слов.

– Ристания эти всегда переходят в доброе застолье, причем в самом широком понимании этого слова, – вслух произнёс Илья. А не для себя (но словно бы *urbi et orbi*) молча постановил, что природе псевдо-Ноя всё же ближе определение «рукастый».

– ...?

– На вид ей лет тридцать. Она очень быстра. Вам есть что сказать мне?

«Новоназванный» рукастый сделал движенье губами. Как бы отвечая на улыбку Ильи. Но так, словно бы принаравливался сплюнуть, а потом растянул рот. Которая улыбка давалась его губам с таким явным усилием, что становилось очевидно:

Он оттягивал само время ответа.

– Говорите, очень быстра? – вопрос не имел наполнения.

– Пустотой не отодвинуть сроки, – мог бы на это ответить Илья; или всё же – так бы ответил псевдо-Илия?

Персонафикации касаются не только атомизированных вещей, но и глобальных сущностей. Но пустотой не отодвинуть сроки: «тянуть время» есть дело пустое. Пустота возможет прикоснуться только к тому, что не сущностно в вечности.

Но Илья опять (даже в молчании – более чем немо) улыбнулся. Улыбка была выделана – якобы отстраненной и вежливой. А на деле – его губы сжимались, как перед бешеной скачкой! Не имевшей отношения к предъявленным ему (ситуативно) персоналия.

Однако же здешние аборигены (и особенно псевдо-Ной – не заметивший неуловимого возбуждения незваного гостя) продолжали глыбиться перед ним. Продолжали надвигаться и обступать. Все они были таковы и вели именно себя так неоспоримо, когда бы право имели жестокую цену назначить за свой ответ.

Никакого отличия от полузабытых гаврошей!

– Очень быстра, – подтвердил Илья.

– Среда – это завтра?

– Да.

Рукастый молчал. Его молчанье стало иным. Хотя всё ещё тянулось и тянулась. На сей раз без малейших усилий с его стороны. А вот те его сподвижники (или свита), что за его спиной приращивали собой пространство (словно бы атомизируя его) – этим самым пространством сейчас словно переглянулись.

Тишина и неподвижность как-то сразу (словно некие ограниченные ёмкости) оказались переполнены невидимым действием. Ирреальность происходящего оказалась настолько безмерна и настолько реальна, что дышать стало сладко и странно.

Так бывает подле электростатического разряда. Которого – не было, но – вместо него послышалось некое не произнесенное имя (звуки составились во что-то вроде Станислава); к чему бы?

Должно быть, к грядущему. Поэтому (для-ради грядущего) – сердцебиения ускорились, и всё-всё цвета и все оттенки приобрели особую терпкость. Как если бы их вновь протерли слезами; не за этим ли давеча на проспекте прошел серенький дождик?

– Завтра здесь женщин не будет, – несущественно ответил (уже не существующий как ветхозаветный персонаж, но об этом не оповещённый) псевдо-Ной.

Вы уверены? – незваный гость не скрывал скепсиса.

Рукастый сделал над собой усилие. И опять ничего не почувствовал в госте, и почти испугался. Устранить проблему возможно было двумя способами. Он решил начать с первого:

– Да, уверен. Ищите женщину сами.

– И всё же я пришёл к вам.

Тогда рукастый (гримасой) дал понять, что оценил настойчивость Ильи. После чего, собравши все свои нездешние волю и власть (о которых я совсем не случайно говорил столь подробно), он снова и прямо-таки по волчьему попытался к Илье принюхаться; разве что делал это не ноздрями, а душой.

Поступал псевдо-Ной как вожак перед большим гоном. Разве что в невидимом мире это выглядело беспомощно и комично. Но Илья не стал хохотать, хотя и произнес подчёркнуто вслух:

– Очень жаль. Наверное, я заплутал. Извините за беспокойство.

Своими словами он более не оставлял рукастому выбора. Более того, ничуть не сочувствуя волчьим усилиям рукастого (которые, не смотря на всю свою нездешность, оказались ничтожны), Илья кивнул и отвернулся, и двинулся прочь.

Все присутствующие накрепко при этом понимали, что никуда он не уйдёт (да и кто ему даст, если бы захотел?). Ведь уход из волшебства (коли ты в нём оказался) происходит иначе: ты всё равно остаёшься посреди волшебства, но – без своего волшебства.

Тем более здесь и сейчас. Когда всё накрепко привязано к прошлому и будущему мира. У которого всё ещё нет (и никогда не было) «настоящего» настоящего.

Искомой Яны в Атлантиде – нет (да и быть никогда не могло – иначе на месте Атлантиды была бы не иллюзия, как сейчас, а реальная Чёрная дыра); но лишь отсюда к ней (столь допотопной, что даже ветхозаветность ей – новодел, а Атлантида – чуть более предпочтительна) возможно увидеть тропу к ней – имеющий душу да слышит: поведёт эта тропка по ломкому льду над студёною бездной.

Почему лишь отсюда? Потому что Илья (при всей своей претензии на первородство) всё ещё человек, и возможности его (пусть даже изначально превзошедшие волшебство) лежат в совершенно другом измерении меры и правды; а вот то, что волшебные сущности осведомлены друг о друге, каждая из «сущностей» знает.

А Илья (между тем) уходил. Псевдо-Ной (не я его зову так: теперь – это его личная самоирония), напряжённо смотрел ему вслед: что вверху, то и внизу! Об этом «равноправии» знает «верх», знает «низ», знает и горизонт «посреди».

И есть вещи, в которых волшебная жизнь не вправе лукавить. Разве что возможно её представителям за услуги свои назначать соразмерную цену.

Псевдо-Ной напряжённо молчал.

А Илья (между тем) уходил. Так уходит молчание (за мгновение перед словом). Впрочем, сейчас это молчание откровенно вопило: что же вы, костоломы, начинайте скорей! И, когда наконец они начали (и при этом покачнувшись начала начал), показалось, что весь этот мир был готов еще раз народиться.

А нательный серебряный крестик на груди Ильи (при этом) просто-напросто просыплет светом Первого Дня Творения. Потому ведь, что в новорождённом мире опять и опять не будет греха (чтобы крестом искупать).

Показалось, что псевдо-Ной только этого и добивался (чтобы мир оказался «в своём роде» очищен); но нет! Добиваться-то он мог, разве что – в происходящем значения уже не имел. Потому псевдо-Ной ничего не добился.

А вот от его менее продвинутых сподвижников прозвучало некое возражение (ирреальности):

– Олег! Да что такое с тобой? Уйдет ведь! – именно так, почти что дословно повторив Иванушку на Патриарших, кто-то из глыбообразных проявил расторопность. Слово бы мысленно наперёд забежал и путь Илье заступил, и растопырился.

Илья, услышав произнесённое имя, шага своего не замедлил.

– Олег! – крикнул самый ретивый из бандитов главарю.

Илья, меж тем, уже и ногу занес над первой ступенькою наверх. Показалось, что свита помянутого Олега (так вот как в миру звали рукастого псевдо-Ноя) никак не связывала древнее вещее имя с ныне происходящим; не так обстояло у Ильи. Ещё чуть-чуть, и ему пришлось бы (в невидимом миротформировании своём) наступать не на ступень, а напрямик Олегу на череп; зачем?

А чтобы откровенностью прямо-таки хрустнуло! Чтобы (оттуда) змея показалась!

Но тогда волшебная цепь была бы разорвана ещё на догадке, на предчувствии мировой катастрофы. Разумеется, этого быть не могло. Однако бесполезный вожак бандитов попробовал (бесполезно) возразить должному:

– Что нам с него?

А сам уже почти понимал, что волшебную цепь (о которой понятия не имеет) не прервать никому.

А Илья наступил на ступеньку; показалось, что какую-то гадину из окружающих его змей раздавил (вместе с черепом; показалось – под ступней-таки захрустело). Рукастый прочувствовал и вздрогнул, как от умелой пощёчины.

– Что нам с него, сам знаешь! – ретивый подчиненный продолжал горячиться и не захотел униматься, поэтому оказался одёрнут (как верблюдом пустыни оплеван):

– Помолчи!

Скрипя нервами, ему подчинились (свои рты замолчали); но – и это молчанье тянулось-тянулось-тянулось (как вульгарный эспандер). Так могло бы само время тянуться (причём – как вульгарные руки, что с намёком протянуты к женской груди).

Но дотягиваться до чего-либо – времени в (этом) мироздании не было (от слова «совсем»), а Илья продолжал подниматься.

Вторая и третья ступень, четвертая, пятая. И уже он почти что достиг (словно Чёрное Солнце зенита) бронированной двери наружу.

– Ладно, парень, стой! – очень тихо бросил ему в спину рукастый.

Показалось, что именно бросился (слюняво сжимая на загривке на загривке незваного гостя свои челюсти); причем факт, что бросаться пришлось без охоты и очень по обязанности, не отменило смертоносности нападения.

В этот миг для Ильи целый мир повернулся обратно. И вот уже он (псевдо-Илия) словно бы никогда не пытался из клуба псевдо-сбежать. Словно бы никогда-никогда ступней не давил своею ступней змею на ступени лестницы; всё вернулось на круги своя – а псевдо-Илия замер на месте.

– Как ты нас отыскал? – (бессмысленно) заорал ему в спину рукастый.

Псевдо-Илия молча взглянул (через плечо) и молча спросил (через тысячи лет):

– Что вам угодно.

– Изволь-ка, приятель, обратно.

– Пусть сначала расскажет, как он нас отыскал, – сказал кто-то из свиты.

Здесь Илья наконец обернулся. Причем (не смотря на немалый свой рост) оказался он на диво стремителен. Причем был и неуловимо легок, и как бы при этом нетороплив. Словно подхваченный ветром лист октября.

Рукастый Олег, увидав эту опасную легкость, вполне мог бы опять начать (бесполезно) рычать, но всего лишь с нажимом спросил:

– Что молчишь? Когда спрашивают, отвечай.

– Зачем вам это знать? – удивился незванный гость.

Однако же обежал всех глазами. И покивал благосклонно, давая понять: он сейчас к ним непременно вернётся! И действительно, он стал возвращаться. Под ноги себе он уже не смотрел. Неинтересны ему стали простые предметы, пришло время других ответов; вот, к примеру:

– Спрашиваем, стало быть, есть причина, – объявил рукастый.

Казалось бы, бесполезный ответ на бесполезный вопрос. Да и произнёс его рукастый как бы даже и негромко. Но мир вокруг (и внутри) исказился гримасой. Все обитатели клуба (по виду оставшись на месте) разом перемешались и передвинулись.

Почти точно так, как давешние гавроши проспекта (но много ловчей), все бандиты в едином порыве окружили Илью.

Свет (от света) – исчез, и из призрачной ночи полыхнули глаза (тьмы). Но гость, по виду совершенно безразличный и любезный, словно бы не замечал обступившего дикого леса (и волчьи метки на замшелых стволах откровенно не желал обнюхивать, и не признавал территорий), поэтому только кивнул:

– Если есть причина спрашивать, отвечаю – тоже с причиной. Справился о дороге у первых встречных. Эти добрые люди вас мне и при советовали.

– Спасибо за откровенность, – со значением произнес вожак Илье. После чего указал подчинённым:

– И чтобы никаких внешних увечий, затейники. Не то чтобы это было важным, но порядка для.

– Олег, ну что ты! Мы приличия понимаем.

Тотчас – студенистыми сквозняками на их лицах (и – сквозь) образовались улыбки; да и рукастый теперь тоже стал на гостя иначе взглядывать: и взглядом его оглаживал, и в глаза залезал, и души попытался коснуться (как бы пальцами влезть); и не вышло, понятно!

Впрочем, (даже) не то чтобы просто не вышло: получилось позорнейшее фиаско. Рукастый, когда прямо в глаза заглянул, словно бы влез с разбега в озеро жаркого олова. И отдёрнулся – весь, словно пальцы спасая. И долго-долго глазами отряхивался. А душа Ильи так и осталась там, где никто и ничто не коснется.

И опять – произошло так, как давеча с высохшими слезами дождика на бетонной стене: всё стало отдельно и персонально(кому, что и зачем). Всё на свете переменялось и словно бы

перекинулось (из низкого мира в мир высший). И теперь уже Илья словно бы возвышался над ними.

И словно бы невидимые расстояния отделили его от аборигенов (и вглубь, и вширь); хотя – он по прежнему ничем не демонстрировал им своего неоспоримого превосходства. Впрочем, кроме рукастого, и этих перемен никто не приметил.

Местные костоломы, каменно улыбаясь, упоённо продолжали (в воображении своём) кошачьи забавы с обреченным мышом.

А вот рукастому их предводителю стало не до пустых забав: всё его зрение (представьте на миг, что вы видите всем телом) оказалось и люто обожжено; и что ни говори, мгновение было подлинным и волшебным! Волшебство проявлялось очень исподволь – как бы не торопясь (как все мы проявляемся со своего негатива).

Как бы – связуя времена. Как бы – времена осязая. Как бы – со-вкушая сладчайшую сладость одного лишь предчувствия таких осязаний.

Показалось – опять и опять на волю в своём сумасшествии (как и тысячелетия назад) вырвались фурии; показалось – вышли на улице полузабытой Эллады нагие менады, чтобы рвать мужские тела и повсюду метать их ошметки.

Менады Эллады? Откуда?

Но – уже совсем не казалось (а всё прочней утверждалось в реальности), что эти нагие и сумасшедшие вновь готовы начать лютую охоту на прославленного Орфея (Орфей? А откуда бы он в «Атлантиде»?); уже – не казалось, а действительно стали слышны (словно эхо меж стен и висков в черепах) эти дикие звоны и пляски человеческих мыслей.

Как песчинки в песочных часах (в свой кошмар) просыпаются пульсы! Само сердце – как бубен шаманский! И – нервы как струны (так и стонут: не рви нас!) прекрасных серебряных арф. Что цыганщина с дионисийством? Пустое!

Тот, кто здесь верховодит, гораздо древней Дионса; кто конкретно? Сам ли Хаос? Пустое!

Приступайте! – молча крикнул рукастый, и – тотчас его стая ко всему (что вверху и внизу) приступила и в полшага накатилась на гостя, собираясь плечами сдавить; и – не вышло у них!

Впрочем, они и не могли преуспеть. Илья поднял руку, ладонью от себя, и остановил безобразия:

– Я сам пойду с вами. На простую разминку.

– На простую?!

– Чего же больше? Ведь это же спорт, а вы – спортсмены, нет? – теперь уже он отыскал глаза рукастого и принялся совершенно беспардонно и вглубь разглядывать его душу; делал это не неприкрытой иронией, легко уклоняясь от завивавших охвостками мыслей зрачков.

– Ты это зачем?!!! – неслышно заорал псевдо-Ной.

Илья как и не слышал. Но (сам по себе) напрямик пошёл на рукастого со товарищи и – легко прошёл меж них (сгрудившихся очень плотно), и никого даже плечом не задел.

– Идемте же, – словно бы через плечо швырнул им огрызок кости.

На что псевдо-Ной неслышно заявил:

– Рассчитываешь себя отдать на растерзание? В мученики метишь?

– Нет, – просто ответил Илья. – Я всего лишь не подличаю. Лишь обезумевшие ездоки сбрасывают с кармических саней слабейшего, чтобы на себя отвлек наступающих волков.

– Ты хочешь сказать, ты сильнейших ездов? – молча переспросил псевдо-Ной.

– Да.

– Это вселенских масштабов претензия! – не менее молча возопил рукастый.

Илья (не менее молча) согласился:

– Да, – и ничего не прибавил более. И что (или кого) именно он сбрасывал с саней, опять – как давеча связь Чёрного Солнца и Атлантиды, осталось не проясненным.

После чего Илья полетел в глубь клуба – ни на кого не глядя и широкими шагами. Причём – даже Рукастый сразу его из виду потерял:

– Стой! Погоди! – псевдо-Ной принялся озираться.

– Что-нибудь ещё? – сказал псевдо-Илья из своего (казалось бы, близкого-близкого) далека’.

– Да. Ещё много «чего-нибудь ещё». Сначала поясни, отчего ты так спокоен?

– Я ничуть не упокоен, – честно и вслух ответил гость.

Он ни на миг не задержался. Миновал застывшую в отдалении группку громил. Даже мельком их не оглядел. А потом еще прошел мимо нескольких плотно прикрытых дверей. Тем самым к спортзалу вплотную приблизился.

– Да постой же! Верхнюю одежду оставь в раздевалке.

Он уже миновал несколько запертых дверей. Но пришлось вернуться (опять минуя громил). И свернуть, куда ему указали.

В раздевалке (вот странность) – он действительно принялся раздеваться. Причём – словно бы сдерживался, дабы вместе с одеждой и обувью, и головным убором не сорвать с себя всю прочую внешность (я мог бы сказать «кожу», но речь не только о человеческой оболочке).

А потом – из раздевалки он вылетел прочь, к ожидающей его Дикой Охоте (запомним это определение). А потом – он устремился к спортзалу; только там он позволил времени замереть (вослед шагам ног и шагам души); он не то чтоб боялся каких-то решений!

Он, скорее, ещё не (поностью) определил, на череп какого-такого мифического существа ему предстоит наступить (если череп Олега оставил «почти» нетронутым); зато рукастый Олег (у которого в самом имени его бывали перипетии с черепами, то ли своим, то ли конским), вовремя вспомнил значение странного (неведомо как ему в мозг засланного) слова:

Значение слова «перипетия» (греч. Περιπέτεια) – в античной мифологии внезапное исчезновение удачи в делах, возникающее как реакция богов на излишне самоуверенное поведение героя.

В дальнейшем приводит к божественному возмездию – немезису (др. – греч. Νέμεσις); впрочем, что нам с того? А пока ничего лишнего. Только личное: стали понятны границы, которые установлены псевдо-Ную.

И только теперь полу-вещий Олег заподозрил, что ни на что из того, что больше жизни, не пригоден (отныне и до века). А ведь до сих пор он, гордый псевдо-Ной, обязательно себя числил среди судей и фурий.

И вот он уже никак не мог рассудить, как наказывать гостя за претензии. Ему не была доступна их обоснованность (или необоснованность). Потому – переложив решение на время (которого нет: вчера и завтра – это разные имена сейчас) и на случай (который закономерен), он ловкой трусцой настиг пришлеца’, замершего у входа в спортзал.

А в спортзале – Илье открывались совсем другие виды, нежели в коридоре. В коридоре – вместо тверди земной явились янтарь и прозрачность. Вместо небесного склона было явлено зеркало. Вместо стен (просто стен), как уже сообщалось, были явлены изыски Освенцима: человеческою кожей покрытые параллельные поверхности.

А в спортзале – паркет оказался настолько затёрт, что выглядел словно бы весенним ледком на реке, перед самым паводком; даже легкие звери лесные не стали бы ступать на подобную переправу.

И все же Илья наступил на эту весеннюю бездну.

Почудилось, что босые его ступни по щиколотку погрузились в талую воду.

Но потом тонкий паркет (поначалу как вода расступившись и до самого дна прогибаясь) обернулся вдруг твёрдостью камня: сохранив свою текучую суть, перестал отступать в глубину, стал держать на весу.

А ещё и открылся (весь!) спортзал.

Стало видно: потолок безыскусно побелен. Стены же полностью оказались в зеркалах. И нигде никакой человеческой кожи, но (на всех) одна общая диогенова бочка: каждый сам за себя. Причём – лишь в себе самом.

Здесь – чтобы (из безысходности) выйти обратно (к истокам своего бытия), надлежало не только из себя выйти, но ещё и сказать:

– Смерть! Где твоё жало? Ад! Где твоя сила?

Впрочем, ответ не замедлил бы: рукастый сразу же зашёл следом. И даже совсем было собрался похлопать ладонью по плечу псевдо-Илии; когда бы между ними не лежали пространства и бездны времён, он бы смог дотянуться и даже сказать:

– Не бойсь, может, ещё и обойдется! – в его голосе слышалась бы нарочитость опрощения (и опошления) не постижимой сложности происходящего; об этом можно было судить и по тому, как за ним (громокипящим потоком и облизываясь вполне плотоядно) ввалились все остальные.

Всё оказывалось уничижительно пошлым. И если бы не были вокруг разлиты волшебства, все происходящее предстало бы очень банальной (хотя – во все времена злободневной) историей: перед нами не более чем полоумные развлеченьица безнаказанных головорезов; где же здесь пограничье?

Восход Чёрного Солнца над Санкт-Петербургом (не ставшим Чёрной дырой), разве что.

А ещё – сами пространство и время, что могли быть отдельными сущностями. Отдельными персонами действия, соглашаясь или возражая происходящему. Потому словно лучик от самого что ни на есть настоящего Чёрного Солнца мечется от зеркала к зеркалу неслышное эхо мыслей.

– Не бойсь, всё будет путём!

– Конечно, – согласился Илья. – Всё обойдётся.

Что именно он имел в виду, Илья не растолковал. Разве что, представ обнажённым по пояс и босым, он не продемонстрировал душераздирающей (как у здешних аборигенов) мускулатуры. Зато явил гибкую сухость совершенного торса и жестокую скупость движений, и явил он спокойствие.

Такое, что сродни безразличию к жизни и жизням, своей и чужим. Словно жизни эти (своя и чужие) – сродни талой воде: она и под ногами, и в воздухе растворена эфиром, и всегда отдельна от водопроводной или речной.

По ним можно ступать, но наступить на эти «эфирные» воды нельзя. Просто-напросто – это такая талая вода, что отдельна даже сама от себя. Просто-напросто такой псевдо-Илия, сказавший нечестивому царь своё «Бог жив!», тоже отделён от всего.

А ещё – и все отделены от него. Рукастому на миг показалось, что незванный гость (здесь) – дома, а посторонний (здесь) – он, псевдо-Ной; продлевать и терпеть это чувство было никак нельзя.

– Позовите учителя! – крикнул бандит.

Вопль его ничем не напомнил о крике гоголевской панночки. Однако – нечистая мелочь обрадовалась:

– Давно бы так! – подумал кто-то из стаи (или все в унисон).

И действительно, кто-то из зала шагнул (словно бы в никуда) и (почти не промедлив) вернулся обратно, уже не один; и тогда весь мир опять (словно оборотень) перекинулся: стал ещё более честен и лют, нежели до сих пор; казалось бы, сие невозможно, но поди ж ты!

Учитель бандитов был внешне невзрачен. Он совсем не напоминал страшного Вия. Был он ниже самого среднего роста. Облачён (отлично от своих учеников) в старое советское трико с растянутыми коленями (мало кто такие нынче помнит) и линялую футболку-хаки. К тому же, как и псевдо-Илия, оказался он бос.

Был он круглолиц и курнос, рыжебород и весь в веснушках. Борода, неаккуратно подстриженная ножницами, прямо-таки полыхала. Да и в глазах рыжебородого, от рождения карих, прямо-таки с цыганским притопом выплясывали громами уверенные зарницы (никого ещё, впрочем, не испепелив).

Тотчас псевдо-Ной перестал выделяться из аборигенов; все стали равны и перестали Илью обступать, и перед учителем построились.

Итак, учитель. Который оглядел Илью – точно так же, как его оглядел Илья: внешне даже зрачком не поведя в его сторону! Но сразу спросил:

– Новичок? – причём его голос, конечно же, не был подобен грозовому раскату; но – все отражения в зеркалах (прежде лишь удваивавшие число присутствующих) сделали шаг вперед, показалось, представая ближе к живым.

– Что вы, учитель! – бормотнул кто-то из рядовых аборигенов (жестоко при этом вертя головой и от Ильи отрекаясь почти что громогласно), но рукастый эту несдержанность сразу же молча пресек (свой взгляд, словно камень Давида, метнувши): и от этого взгляда, и от сплошных зеркал словно бы эхо произошло.

И лишь тогда (именно что посреди эха) рукастый шёпотом отрапортовал:

– Учитель, это невесть кто. Незванный гость.

– Почему ты его так называешь?

– Потому что искал некую женщину по имени Яна. Может быть, ту самую невесту (невесть откуда пришедшую), о которой нас предупредили.

И вот здесь новый человек впервые на Илью посмотрел. Прямо, упёрши зрачки, не прибегая к свехчувствам. Поначалу в его глазах не было интереса; да и потом интереса (когда уже развернулись события, когда стали происходить волшебства) не прибавилось: ему словно бы всё было известно заранее (как слово цепляется за слово в дискурсе).

Но вот только с этого момента он уже словно бы взгляда с Ильи не сводил. Даже тогда, когда когда не смотрел в его сторону. Более того, сквозь его карие глаза откровенно взблескивала сталь, и сталь эта могла поразить отовсюду. Тропиночка к Яне (что ещё мгновенье назад казалась почти безопасною гатью по-над безопасною бездной) вдруг оказалась млечною россыпью алых углей (иди же, босой, коли сумеешь).

– Эту женщину многие ищут.

– Учитель! Многие ищут, но пришел к нам он.

– Сам пришел?

– Говорит, указали дорогу добрые люди.

– Хороша доброта! – мог (бы) молча сказать рыжебородый.

А псевдо-Илия с ним не менее молча согласился (бы). Разве что псевдо-Ной этого диалога не услышал (бы). А если (бы) и угадал о его наличии, не осознал (бы) его содержания. Таковы они все, люди праведные в своём роде.

А меж тем именно в этом настоящая доброта: сказать посредственности, что он как бы социально (и даже интеллектуально: ум рассудка далёк настоящим вершинам) он не возвысился – в настоящей реальности он был и есть «никто и никогда»; сказать гению или святому, что в любом своём бытии он неизбежно окажется «всем и всегда»; назвать каждому его настоящую цену.

Правда в том, что любой человек (кем бы он не казался себе) обречён на ничтожество недостижения. Что даже (предположим) многогранный титан Возрождения – не более чем полуфабрикат себя. А ведь для того, чтобы воплощать (весь) смысл бытия, «вам пришлось стать вне и глубже смысла, а ваша жажда оправдания – сама оправданию не подлежит.» (Николай Бахтин)

– Я не оправдываюсь, – мог бы сейчас завопить псевдо-Ной.

– Да, – легко согласился бы псевдо-Илия. – Ты зовёшь учителя, чтобы он тебя оправдал.

Хороша доброта: знать, что в недотворённом мире все его вершины и низины суть пологи. Добрей разве что сказочный камень на развилке дорог: дескать, направо пойдешь или (даже) налево; или (ежели хочешь) упрямо и прямо, всё равно никуда не придёшь.

А коня потеряешь при этом или голову, не суть важно.

Хорошо, что псевдо-Ной этого диалога не услышал (бы), даже если (бы) такой диалог (наяву, а не в мареве снов допотопных) состоялся-таки; хорошо, что в клуб «Атлантида» пришёл именно что псевдо-Илия, дабы встретить там псевдо-Ноя; но зачем?

А затем, чтобы (сам, из-за бес-силія своего) псевдо-Ной позвал учителя; то есть – чтобы именно рукастый передал Илью с рук на руки; но – кому? Если под личиной бандита скрывается прародитель послепотопного человечества (праведный в своём роде), а под личиной незваного гостя скрыт пророк, то кто есть рыжебородый?

И (главное) какую роль играют во всём зеркала?

Ответ, несомненно, будет. Ведь псевдо-Илия пришёл сюда (именно сейчас), ища себе выхода из бездны повторений; то есть – сюда пришел именно тот, кто был бы взят на небо живым и (не будь он эрзацем); действительно мог бы сказать: Бог жив! Просто потому что живой видит Живого.

Пожалуй, ещё только несколько человек мог сказать подобное: это те непосредственные (так сказать) очевидцы Творения! То есть – самые Первые, в кого Бог (напрямую) вдохнул душу живую: Первомужчина и Первоженщина (и та, что была прежде Евы).

История, как видим, уводит нас всё глубже и глубже – последуем за ней; хотя – вовсе не обязательно узнаем, кто же таков рыжебородый! А пока что рыжебородый легко прошёлся вдоль строя своих «спортивных гаврошей» и раздумчиво спросил:

– Как вы хотите, чтобы я с ним поступил?

– Испытайте его, учитель. Что-нибудь совсем простое, но из вашего (запредельного), а не нашего (повседневного) арсенала.

– Но (если братья по моему), как потом поступить мне – уже не с ним, а с вами?

Они (бы никогда) не ответили. Даже если (бы) поняли и расслышали.

– Встаньте в круг, – сказал учитель бандитов.

Показалось – ещё ничего не совершив, рыжебородый уже совершал. То есть – одновременно с движением его губ костоломы заволновались и задвигались. Молча (но как бы о чём-то говоря с зеркалами) они стали обступать учителя и становиться к зеркалам спинами (разве что их отражения в зеркалах немного промедлили).

Но и они (сами) – сопротивлялись судьбе не более удара сердца, после чего – были с мест своих изгнаны и последовали за оригиналами. Там и там (наяву и во сне) тела и их отражения образовали некое подобие окружности.

Которая (там и там) оказалась не завершена. Илья их примеру не последовал. Чем рыжебородого не удивил:

– Ну а ты? Приглашения ждешь? – как-то очень утвердительно спросил он и улыбнулся. И продолжал улыбаться. И не перестал улыбаться, когда Илья ему (без со-участия губ) ответил:

– Объяснитесь.

– Хочу на тебя посмотреть, – пояснил рыжебородый очевидное им обоим; но! Настоящие свои разъяснения он давал Илье уже иначе – тоже молча: разумею, что глумливое действо не только на потребу гаврошам! И вовсе не значит, что дорогу тебе не укажем; напротив!

Разумею – сам факт глумление есть указание.

– А где ваш интерес?

– Заставляем тебя «разуметь». Жить мозгом желудка. Но удиви нас и захоти обойтись без наших подсказок; что, не можешь? Или всяк на земле выживает не только душой? Тогда ты обречён ничего не найти.

Псевдо-Илия ничего не ответил. А псевдо-Ной теперь даже и внешне ступебался: и названные, и самоназванные имена обретали окончательное воплощение. И прежняя функция псевдо-Ноя оказывалась исполнена: более указаний дороги (в виде Потопа) не будет. Разве что рыжебородый продолжил Илью искушать:

– Перестань убегать от своей любви (но – посредством своей же любви). Перестань быть правым всегда (но – посредством своей же правды). Ведь и зло, и добро – только средство любви, приворотное зелье для той, кого ищешь.

Псевдо-Илия ничего не ответил. А рыжебородый, меж тем, изрекал чистейшую правду:

– Отвернись от неё и пойми: (такой) отказ от (такой) любви превосходит земные любви. Что подобную тонкость в любви человекам дано обрести, только лишь от любви отказавшись. Ведь и плотью душа не осязает (почти) никогда; но – об утрате души человек узнаёт по чувству необратимой потери.

– А вот здесь ты солгал, – мог бы сказать псевдо-Илия.

Но рыжебородый солгал – (почти) не солгав. Потому – Илья сказал о другом:

– Смотрите. Я ничего не скрываю, – молча ответил Илья, хорошо понимая, что именно здесь и сейчас пришло время этого самого «(почти) никогда».

– Тогда именно там твое место!

Рыжебородый, указывая на незавершенность обступившего его круга соратников, повел подбородком: показалось, послушный лесной пожар метнул по ветру искры! И тотчас же рыжебородый продолжил указывать:

– Становись, – но имел ли он в виду простое «стань собой», осталось не прояснённым: Илья дискурса не поддержал и встал рядом с другими (тем завершил круг-утробу, где зародышем рыжего вихря улыбался учитель бандитов).

Названным именам уже не доставало предвосхищать (желаемое) содержание жизни носителя имени. Сами имена начинали рождаться (почти во плоти).

– Очень хорошо! – рыжебородый (уже вполне вслух и для всех) улыбнулся.

Эта его особенная улыбка (как и он сам) была персонально неподвижной. Потом – ни на йоту не сдвинувшись, совершенно чеширски перетекла в никуда. А он сам так и остался протеевым камнем, из которого вдруг выметнулись нечеловеческой всеохватности руки. И потекла по ним, подобно гневливой волне перед закованным в гранит берегом, совершенно нездешняя мощь.

Мощь эта (что было и ощущаемо зрением, и почти физически осязаемо), народившись вот здесь и сейчас, принялась нарастать и продолжаться, и переходить любые границы; и везде (и едва ли не всюду) она была смертоносна; быть может – она достигала и той некасаемой дали, где находилась душа Ильи.

То есть – мощь рыжебородого почти настигла Илью и превзошла его неуязвимость.

А потом – рыжебородый (причем именно вот здесь и вот сейчас находясь) это свое превосходство продолжил (причем не как кость, что торчит из обрубка руки, а как душу руки); а потом – эта мощь (персонально) перешла все мыслимые здесь и сейчас границы, и явила своё волшебство.

Подобно волшебству камнепада, что на склоне лишь полувыдохнул: и не стало цветущей долины.

А потом – рыжебородый, поднявши неборимые свои руки, согнул и сцепил их на затылке, причём: могло показаться, что гранитными своими пальцами даже вцепился в затылок! Причём: могло показаться, что уподобясь некоему барону, учитель бандитов сейчас вытаскивает и себя, и весь окружающий Санкт-Петербург из болота.

А потом – он принялся ручищи свои распрямлять. Но он всего лишь стянул с себя футболку. Причём – торс его оказался как бы сам по себе и не велик (даже и в невидимом). Но

был он словно бы изящно вырублен из гранитной (неподъемной и рваной) скалы. Причём все эти его рваные грани тоже сами по себе проникали за любые границы.

А потом – (но не сразу, а несколько позже) на этом громоздящемся торсе (опять же – как древний Прометей на не менее древней скале) открылась изощреннейшая татуировка растопырившего крылья дракона, грозная и двухцветная.

А потом – стало ясно (но словно приснилось), что этот пернатый змей неутолимо голоден.

Что торс рыжебородого – только фарс, только скала, к которой прикован светоносный титан (иначе – дракон Иоанна Богослова); что же, сфинксов в Санкт-Петербурге – многие видели! А когда видели наяву Прометея?

Очевидно, что именно сейчас наново рождалось это имя. Что невысокий рыжебородый претендовал на роль титана не без оснований.

Потому – единым движеньем (более быстрым, чем ласточка) этот учитель бандитов смял футболку в кулаке и зашвырнул в дальний угол зеркал. Чтобы уже там она (то ли до, то ли уже за гранью стекла) мягко прилегла на паркете, притаившись в ничтожный комочек. Причём – при движении руки змеечудище татуировки словно ожило и изогнулось, и сдвинуло кольца.

Причём – два цвета его оперения, красный и синий, столкнулись и породили еще один цвет: ослепительно черный, острием своей черноты способный зрочки выжигать.

Илья (неизбежно) взглянул. Его зрочки (неизбежно) испытали негромкую боль. Почти уподобившись пальцами, выбитым из суставов. Так трагедией (неизбежно) повторилась комедия, когда рукастый вознамерился с Ильёю померится душами.

– Я совсем несильно, – улыбочиво и чуть смущенно пообещал рыжебородый.

При этом даже не шевельнув бровью. Просто взглянул, и ближайший к нему ученик послушливо вытек из зала (показалось, в чахлую и скупую пустыню, за её ядом). Но вернулся он всего лишь с парой боксерских перчаток и их учителю преподнес.

Но учитель не принял:

– Только одну, правую, – и протянул руку, дабы перчатка была надета и почтительнейше зашнурована; и всё та же узнаваемая бессмертная смертоносная незавершенность прозвучала в его безразличном предупреждении:

– Начали.

Но (оказалось) – это вовсе не начало, а (уже) его продолжение, о чём сразу же рассказал взгляд учителя бандитов. Который – словно ласточка (миновав нательный крестик Ильи, серебряный и исчезающе тонкий) прочертил по спортзалу и даже не коснулся услужливого ученика.

Показалось – ни рукой, ни даже пальцем учитель его не ударил.

Показалось – едва-едва успевшая быть зашнурованной перчатка (отдельно от всей реальности, то есть – когда-то в прошлом или где-то в будущем) сама «выступила» вперёд; показалось: она или полетела, или поплыла (в зависимости от какой Стихии становясь сущей); она выдвинулась вперед совершенно не торопясь.

И даже не стала (благодаря своей скорости) полупрозрачной; но – вплотную к этому приблизилась.

А когда произошло долгожданное (а на деле – в тот самый миг, как пошла или даже раньше) соприкосновение с желудочным прессом ученика, то и оно оказалось совершенно беззвучным, поскольку – медленный звук запаздывал.

Потом – точно так же стало казаться, что перчатка (как бы сама по себе) вернулась на место; показалось, замерла. Показалось – она позабыла о человечке, из которого вот только что вышибла душу (то ли грешную, то ли бессмертную – то ли всё это сразу).

Но смертоубийства не вышло, в известном смысле. Ученик лишь обрушился. Поначалу на одно колено, потом на другое.

Илья увидел (даже не зрением, а каким-то осязанием зренья), что душа ученика была выбита напрочь. И что на антрацитово-пустое место изгнанницы немедленно протиснулась иная жизнь (словно тень Черное Солнце, обыденной тени взамен) – оттого оболочка и уцелела (а потом – уже и ученик потянул в себя воздух).

А потом – даже и принялся, как наполняемый аэростат, приподниматься.

Илья оказался по очереди следующим, и рыжебородый к нему очень мягко полуобернулся:

– Вижу, ты носишь металл, – он явно имел в виду нательный крестик.

– Да.

– В бою он может поранить. Поверь моему опыту.

– Твоему опыту верю, и поранит он обязательно.

Всё это произносилось без слов. Но учитель бандитов всё равно (как и не слыша негромкого предупреждения) Илью словно бы перебил: он заспешил и (чтобы дальше не слышать) ударил незваного гостя. И (само же собой!) удар получался иным, нежели предыдущий.

Хотя – внешне был столь же безобиден, как давешняя оплеуха ученику.

Илья видел – умерло время: медлительна стала жизнь и медлительна стала смерть. Перчатка рыжебородого (по мере устремления своего – ни куда-нибудь! – к самому сердцу незваного гостя) прямо-таки принялась разбухать от незримого яда. За которым – и в пустыню гонца не стоило отряжать.

Которого столько разлито по всей истории человека.

– По всей вашей культуре, которая единственно ложью и может противостоять человеческой неполноценности, – словно бы вторил его видению рыжебородый; и всё это – пока его же перчатка к его же словам (словно бы) ещё и прибавляла:

– Ах этот правдивейший лжец Соломон, тоже Царь Иудейский: Положи меня на сердце как печаль умирания! – а рыжебородый (от перчатки отдельный) даже и покивал, с этой ветхозаветностью соглашаясь.

И как же было не согласиться с особенной прелестью яда этих убийственных слов? Но Илья от них лишь отмахнулся:

– Я не Царь Иудейский, – но и он видел, как уже само продвижение перчатки (от самой перчатки став совершенно отдельным) его словно бы вопрошает (а так же – его осуждает! А так же – его восхваляет! Словно бы отделяя его – от него же: баш на баш разделись, человек! Перестань целокупным себя представлять).

Илья видел: перчатка всё ближе.

– Чем ты меришь себя, человек? Чем ты смеешь себя измерять?

Илья видел: перчатка всё строже.

– Поместишь ли в себя окоём мировых катастроф и рождений богов и героев?

– Нет, конечно.

Именно так гость незванный ответил (бы) перчатке! А за этим ответом свысока наблюдал (бы) владелец ядовитой перчатки (почти Прометей – почти приковавший сам себе к сердцу Илья).

Илья видел: перчатка всё ближе и ближе (и всё гаже и гаже)! Что уже она (даже!) не принадлежность руки огненосца-титана, а приблизилась к яблоку евину (и не Анчар ли то дерево Зла и Добра – с коего плод искусил человечка?); Илья видел: что смыслы всё ниже и ниже; решалось сейчас: просто ли выжить или – непросто погибнуть.

– Ты хочешь сказать, что ты избегаешь любых катастроф, ибо – попросту старше и прошлых рождений, и будущих перерождений?

Илья видел: слова рыжебородого не имели никакого значения (хотя – имели другое значение). Ведь перчатка стремилась-стремилась-стремилась и уже становилась от скорости полу-

прозрачной (сколь медлительна скорость!) вовсе не для того, чтобы что-то (для рыжебородого) решить или даже убить (той смертью, которой нет).

Илья видел: сама смерть словно бы убивать только лишь собиралась (составлялась из множества разных и частных смертей). Илья видел: его согласие с тем, что он больше чего-либо (или равен чему-либо, или меньше – это ведь всё равно) станет вкушением плода с этого самого (пусть даже пушкинского, из стихотворения) «одного на всю вселенную» Анчара.

– Человек! Ты хочешь отринуть всю вашу культуру? Всё ваше познание? То есть «всю природу жаждущих степей»?

Кто об этом спросил? Не рыжебородый титан, не перчатка (своей сутью ведя родословную адамова яблоку рыжебородого), и даже не ставший полным ничтожеством псеудо-Ной; спросил об этом (сам себя) псеудо-Илия:

– Ты ведь знаешь себя: коли пуст человек, хоть душою его одари, от души он и лопнет!

Илья видел: никакие слова не имели значения (хотя – имели другое значение). Ведь перчатка стремилась-стремилась-стремилась и – уже становилась от скорости полупрозрачной (сколь медлительна скорость) вовсе не для того, чтобы что-либо (для рыжебородого псеудо-Прометея или сероглазого псеудо-Илии) решить; или – даже кого-либо убить (той смертью, которой нет).

Илья видел и – даже предвидел: сама смерть словно бы убивать (выбирать) только лишь собиралась (из ничтожества множеств смертей). Илья видел: смерть всего лишь хотела согласия, что именно она есть мера всего (сколь медлительна мера сия); а перчатка стремилась-стремилась-стремилась (никогда ни к чему не стремясь).

Илья видел: смерть пыталась согласие его предуслышать (от предчувствовать); но – эта смерть словно ставила рамки, причём – не только его бытию, а и сердцу самого рыжебородого Прометея; поэтому – уже сердцу самого Ильи (тоже став персоной событий) тоже сделало шаг (словно бы) из груди и перешагнуло медлительность жизни; но – медленно двинулось сердце, дивно медленно!

Порою даже казалось, что (снова и снова) сердечная мышца оказывалась кавказской скалой Прометея. Что (при этом) никакие-такие сыны Зевса не предвиделись освобождать прикованного ко всем сердцам мира титана (а на деле – ещё одного светоносного оболыстителя; впрочем, об этом не время сейчас)

Стало ясно, что сердцу (вот только чьему?) самому предстоит – не убить Прометея (или таки псеудо-Илию); и будет ли засчитан псеудо-Прометею суицид, если собственное сердце его порешит?

– Вижу, тебе нравится сложность своей собственной простоты, – сказал рыжебородый учитель бандитов. – Ты и сам понимаешь – это тупая гордыня.

Псеудо-Илия всё понимал. Понимал, что пульс может быть тупым или острым. Понимал, что любой из этих (как былинки легчайших) межзвёздных пульсаций возможно и скалы Кавказа подвинуть, и даже прорости в бесконечность (чтоб стать человеком, способным миры созерцать, сущие до сотворения мира).

Всё окружающее (как телеизображение, что попадает в фокус) приблизилось и укрупнилось, даже воздух (как бы сам по себе) приблизился и укрупнился, и стал видеться серою пылью (мелких атомов, претендующих на индивидуальность); причём – каждая пылинка оказывалась гордой и неподатливой.

Той же перчатке (адамову яблоку зла и добра) оказывалось очень трудно её раздвинуть (или просто отодвинуть). Но Илья видел: рыжебородый умел и раздвигать, и отодвигать всё то, что возомнило себя отдельным и значимым.

Перчатка, впрочем, в помощи не нуждалась. Будучи вызовом гордыне, она гордынею и питалась (это и был её яд; тот самый, которого – как таблетки от жадности – не может быть много).

Перчатка, меж тем, подплывала к незваному гостю: причём – вся в переплетении крыльев трепещущей пыли атомизированных личностей!

Причём – вся состояла из вопля и переплетения вопящих вопросов бытия! Причём – вопрос был убийственно прост:

– Скажи мне, что теперь для тебя наилучшее? – могло показаться, что это перчатка вопрошает у воздуха (у каждой личности воздуха, у каждого вдоха и выдоха каждого атома); казалось бы, кто может услышать движение? Особенно если скорость его бесконечна настолько, что совсем неподвижна.

Атомы воздуха (выдохи их и вдохи) могли позволить себе промолчать. Илья не мог этого сделать, поэтому тотчас (то есть молча) ответил:

– Наилучшее мне недоступно, поскольку люблю.

Так сказал он (ничего не сказав); и – прозвеневшая тонкость (отделяя нелюбовь от любви), что вместо него произнесла эти слова и преподнесла эти слова, именно ими себя оправдала (раб лукавый и прелюбодейный оправдания ищет, и не дастся ему!); так можно ответить на что угодно: сказать, ничего не сказав.

– Такова твоя тонкость. – сказал ему на это татуированный рыжебородый Прометей, выступая из своей азиатской (совсем не эллинской) внешности. – Такова твоя грань между смыслом и мыслью: она объясняет, не объясняя.

Итак – произнесено. Прометей, языческий архангел света. Сказавший не ильево «Бог жив», но – сделавший предложение, от которого нельзя отказаться: будьте как боги!

Но – псевдо-Илия на это лишь кивнул.

Они ведь (и ветхозаветный пророк, и мифический светоносец-титан) были почти современниками. Они оба (в сравнении с вечностью) оказывались не столь изначальны. Ведь даже стушевавшийся в громокипании их противостояния псевдо-Ной, был (бы) их обоих древнее; будь Илья – только псевдо-Илией, строитель ковчега обязательно был (бы) древней и мудрей.

И значил (бы) в этой истории больше – не будь праведен в своём роде. А так он (до и после-потопный) растерял своё время и уступил своё место. И на это соображение (о временах и местах) псевдо-Илия согласно кивнул (да и рыжебородый не возразил).

И распахнулись пространства: показалось, что где-то в бездне времён опять расступились перед древними иудеями мертвые хляби Мертвого моря; а здесь и сейчас опять показалось, что в язычески роскошном и (одновременно) шаманистски-фредистском пространстве спортзала словно бы зазвенели кимвалы!

Словно бы от страсти натужной. Сходной со священной проституцией в в храмах Месопотамии; впрочем, и безо всякой натуги любовной давно было ясно и видно, что ничего наилучшего (никому – никем) не определяется: каждый сам за себя!

– Скажи тогда, что наилучшее для меня? – сказал рыжебородый совершенно вслух.

Он словно бы фиксировал произношением безальтернативность своего вопроса (и нивелировал тот вопрос, что был только что задан перчаткой – которая, кстати, всё ещё устремлялась в стороны незваного гостя).

Как не стало вопроса – что здесь лучше (или хуже) для незваного гостя;

А что вопросом своим он лишь цитировал из ницшеанского рождение трагедии (из воздуха музыки: от альфы до омеги) – так чего ещё ждать от прародителя сверхчеловеков и учителя бандитов? Понятно, псевдо-Ной – изначальней: пусть и стушеввался сейчас, но – когда-то именно он (из всего своего рода) услышал призыв строить Ковчег.

Хотя – просто те, кто в роде его, были ещё хуже, и не из кого было выбирать строителя.

Илья знал об этом. Но знал и рыжебородый, который повторил вопрос:

– Что наилучшее мне? Только мне? Всё другое не суть.

– Наилучшее тебе недоступно. Ты не можешь не быть вовсе, не существовать, быть никем, – Илия отвечал в заданной традиции ницшеанства.

Рыжебородый тоже эха традиции не оставил (отразился от собеседника вполне в русле):
– Ты всегда есть большее, нежели просто ты; ты есть само мироздание, порою разделённое на эго и альтер-эго (и на атомы и того, и другого), – сказав правду, он хотел ответной похвалы, но не дождался.

– А наиболее предпочтительное для тебя: как можно скорее умереть, – продолжил Илья, ничтоже сумняшеся.

Рыжебородый эхом отразил эхо – попытавшись всё свести к хамству:

– А для тебя наилучшее? Или ты слаб умереть? Тогда убивай! Ты умел, и тебя хорошо обучали, – он имел в виду искомую Яну.

Кто ещё, кроме единственной женщины, мог бы обучать Первородного? Вопрос риторический, оставшийся без ответа.

Илья видел: перчатка стремилась к его груди. Илья видел: так его вопрошает даже не смерть (распадаясь на ин и янь), а лишь персонифицированное «продвижение смерти» – прямиком к его сердцу. А что до сих пор вопрошание было взаимным, то на этот раз Илья промолчал.

И лишь его сердце (словно бы отдельно живя), всё продолжало и продолжало движение навстречу перчатке. На что рыжебородый вылепил губами насмешку. Дескать, много чести себе возомнил, гость незванный: удар был направлен в живот.

Когда время удару ударить пришло, туда он и ударил – такое высокое косноязычие в описании процесса убийства (так примитивные бомба падает, кувыркаясь в потоках).

Удар был совершен. И беззвучен, и безболезнен (не только потому, что звуки и боли запаздывали: пусть смертельно больные сами погребают свои болезни и вопли). И лишь многожды позже Илья осознал себя павшим на оба колена.

А ещё многожды позже (и – чуть погодя) он склонился и звонко (почти прошибая истёртые дощечки) опёрся лбом о паркет. А ещё почти сразу (но – чуть погодя) он не смог определить: его вот-вот вытошнит сердцем или сердцем втошнит (вовнутрь самого себя). Потому определять они ничего не стал, а просто ответил:

– Но не ты обучал, – так ответил он (но лишь на упоминание, что его хорошо убивать обучали).

Рыжебородый ответ игнорировал. Ведь он бил следующего ученика. Потом следующего и следующего. И уже опять приближался к коленопреклоненному Илье. Ничуть ему не говоря (даже молча): дескать, у тебя есть металл на груди? Так воскресни-ха-ха!

И ведь всё равно (что вверху, то внизу) предстояло незваному гостю подниматься с колен.

Вновь и вновь подниматься и – заполнять собой разрыв в круге (утробе – круговороте смертей и рождений; кто знает?); незваному гостю (быть незванным или быть всегда лишним; везде и всегда оказываться малым добавлением в первобытный бульон, чтобы возникла первая клетка) предлагалось всего лишь подняться и опять предоставить себя убивать.

Но – когда Илья встал на ноги и утвердился на них, оказалось, что этой своей неистребимостью рыжебородого нимало не удивил.

– Здесь у кого-то возникали сомнения? Так их уже нет: это тот, кто нам чужд! Даже более чужд, нежели (предположим) иудаизм христианству (при всём нашем теснейшем с этим пришельцем родстве), – так мог бы сказать (именно что) Прометей. Именно что бессмертный титан, принесший людям совсем не огонь!

Огня (Воды, Земли, Воздуха) полно кругом, зачем его носить, если он всегда есть? Прометей суть лукавый (иначе, змей), принесший Напрасные Надежды: что не предаст любовь, что вечна юность, и никогда не обратятся в старух жены (и в стариков мужья), что не горят рукописи и холсты, и вечно искусство.

– Да, я (почти) Прометей, – мог бы сразу сказать своё имя рыжебородый. – Аз есмь (почти) светоносный и лукавый титан. Но (такого) он не стал бы говорить даже молча. И не потому, что его не интересовала очевидность.

Илью он спросил о другом:

– А вот что теперь для тебя предпочтительное?

И опять (не промедлив) ударил. И (не медля) опять пришёл за Ильей ураган. Распахнул свои пыльные (составные из личностных атомов) совиные крылья. А Илья опять умер, едва лишь перчатка к нему прикоснулась.

Он был псевдо-Илия и не мог сказать встреченному им псевдо-Прометею (словно царю нечестивому): Бог жив! Но он мог (опять и опять) псевдо-воскреснуть (быть живым взяту на небо).

Едва лишь перчатка к нему прикоснулась, он умер, и его мёртвое тело унесло как пушинку на два шага назад. Он почти что коснулся обнажённой спиной того самого зеркала, что покрывало всю стену спортзала (как в в 41-м лопатками нам всем довелось прикасаться лопатками к Волге-реке).

Но не коснулся. Одного малого биения сердца не хватило.

От удара он умер, и – сердце уже не билось. Не стало сердцебиений; но – он (взамен) ощутил серебряное дуновение: именно что отсутствия смерти. Поскольку – лишь благодаря очередной смерти сердце осталось в Илье.

То есть – погрузилось в глубины зеркал. А потом – Илья выпрямился и стал как душа. А потом и его сердце выпрямилось и перестало быть мышцей тела: мышца умерла, но душа стала биться взамен.

Рыжебородый, меж тем, лупил и лупил послушливых учеников. Прodelывал он сию экзекуцию «убиваний и воскрешений» (затем и чрево вокруг него строилось) всё так же размеренно и бесстрастно: с каждым ударом чрево выпячивалось изнутри и наружу (к зеркалам), не разрывалось и не взрывалось.

На сей раз Илья остался около зеркала и – не поспешил (по примеру учеников) возвращаться на место (а потом и продолжить эти мёртвые роды). Тогда сам учитель бандитов остановился перед ним и вслух, уже безразличный к приличиям, произнес:

– Как был ты, Адам, сплошную глиной, так ей и остался.

Теперь и это имя (окончательно) прозвучало. И ничего не произошло. Псевдо-Илия действительно оказывался не пророком Илией. И только псевдо-титан оставался именно что великий гуманист Прометей (какая разница, мал или велик светоносец, суть одна: распасться на атомы сутей).

Потом – поскольку незванный гость никак (даже и вслух) не стал отвечать на глумление, рыжебородый продолжил:

– Женщину ищешь? И при этом смеешь носишь то, чего в тебе нет: металл! Налагая его на себя как клеймо Дня Восьмого.

– Да, – ответил Илья. – Налагаю. Клеймо как клеймо: несмываемое.

Внешне в этих двух фразах ничего не было. Человек со стороны остался бы убеждён в очевидном: незваному гостю ещё раз указали, что он мягкотел.

Но нашему незваному гостю (пришельцу со всех сторон Света) слова эти были наполнены светом даже не самого Первого Дня (или даже пусть Дня Шестого!); грянул Свет во все стороны, и время пришло Дня Восьмого.

Предположим, что недотворение мира произносилось на языке до-Вавиланском (первоначальной немоты, для которой любой алфавит просто-напросто тесен. И продолжим произнесение мироздания в мир: никому не известно, на каком языке будет произнесено до-Творение (доведение до совершенства) мира, который не-дотва'рен (см. тварь – человек: аз есмь альфа и омега, первый и последний).

Чем тогда окажется мир для человека-омеги? Опять-таки произнести это возможно лишь на языке первоначальной немоты.

Известно лишь – старого мира не станет. Поэтому – Илья молча шагнул к рыжебородому и – прочь от зеркала (которого так и не коснулся; хотя и мог бы – крылами); и тотчас (и это увидели все!) по серебряной глади зеркальной стены зазмеились трещинки и паутинки; поначалу медленные, они вдруг набухли и обернулись ручьями!

И уже все зеркало с шелестом потекло на паркет и осыпалось полностью.

Тогда рыжебородый с Ильей посмотрели друг другу в глаза: Опять ошпарило веки, причем на этот раз обоим; но! Они оба взглядов не отвели; и тогда Илья (одной лишь мыслью) кивнул, разрешая:

– Говори!

И рыжебородый (по прежнему – вполне светоносно) заговорил:

– Стремишься ее познать?

– Я её знаю. У тебя лишь хочу узнать о ней; а то, о чем ты глумишься – было, есть и будет.

– Разумеется! Ты её ученик.

– Нет, я только учусь у неё.

И пока это всё говорилось (молчалось, кричалось), а зеркало всё осыпалось и осыпалось, была вокруг тишина: ничего, кроме чистого шелеста серебра и осколков. И открывался настоящий цвет зеркала: оказался он иссеня-чёрным, словно воронье крыло на поле павших после сечи. Настоящий цвет, что приоткрылся истинный алфавит миропорядка.

Совсем рядом стояли друг к другу настоящая жизнь и настоящая смерть. Настолько рядом, что и жизнь, и смерть оказались (или только казались, кто знает?) одним и тем же. Точно так же стояли друг против друга Илья и рыжебородой.

Но бесконечно так продолжаться, конечно же, не могло.

Казалось бы, они сами решали, как и о чём говорить (или молчать, или кричать); казалось бы, совершенно несущественны стали сейчас обрядовость отношения к жизни, а так же быстрота или медлительность смерти; казалось бы!

Но их, конечно, прервали:

– И что нам теперь с ним делать? – откуда-то из невеликого своего далека ласково прорычал совершенно забытый (но всецело осознающий свою – здесь! – не-обходимость) рукастый бандит.

Не то чтобы удобный его разумению гнев за разбитое зеркало помутил его невеликий рассудок. Не то чтобы в глазах за клубились, звеня, кровавые бубны, что заставили о субординации позабыть. Просто – он был и остался в своём роде псевдо-Ной, который не понимал (и в своём роде был прав), что сейчас не до него.

Рыжебородый попросту оторопел. А Илья (зная, о чём хлопочем рукастый бандит), просто сказал:

– Назовите цену зеркалу, я оплачу.

– Конечно, оплатишь-шь... ха-кха... – это рукастый заперхал и принялся давиться собственным языком! Рыжебородый, вновь бросив взгляд, заткнул его горло.

– Вот так. Помолчи.

Рукастого чуть отпустило. А рыжебородого (после происшествия с зеркалом) Илья словно бы перестал интересовать. Да и прежде интересовал всего лишь миг, когда не хотел замыкать круг утробы.

Кажется, теперь он захотел незваного гостя побыстрее спровадить:

– О той Яне я многое слышал.

Илья мог бы усмехнуться:

– Вижу, что всего лишь слышал. Раз до сих пор здоров и даже мнишь, что процветаешь, дороги ваши не пересекались.

– Отчего же? – мог бы спокойно ответить рыжебородый; но он знал своё место и (не менее спокойно) признал:

– Мне подобных она не выносит.

На миг показалось, рыжебородый сказал: что из пропасти некая женщина (как птица Симуург) на плечах выносит только лишь несомненных героев (остальных не заметив); показалось; а сам рыжебородый титан-светоносец словно бы признавался, что он (хоть едва не бессмертен) совсем не герой.

Так и было бы, если бы он не продолжил:

– Но всё верно, что ты сам к нам пришёл. Что вверху, то внизу.

– Ты сказал.

– Да, я сказал, – подтвердил рыжебородый и опять улыбнулся (одной лишь мыслью, говорящей незваному гостю: Теперь твой черед отвечать).

– Спросив цену зеркала, я спросил твою цену, – ответил Илья.

– Я знаю. Но за спрос, как известно, карман не ломают.

Рыжебородый опять мог бы (по доброму) улыбнуться своей лютой улыбкой. А что лютость такой доброты – в предьявлении меры тому, кто меры не знает, так это и есть это мудрость любого Прокруста!

Пусть тот, кто сам мера всему, себе положит предел.

Рыжебородый был беспощадно прав: не имеет значения, зло или добро изрекают истину; истина анонимна, а что вверху, то и внизу.

Интереснейший оборот принимала беседа. Хорошо бы мне слышать её и дальше (пусть даже она продукт моей головы); но – не тут-то было: опять колыхнулись и вспучились сомнением рядовые громилы.

Их внутренний миропорядок подразумевал, что нельзя им плыть по реке, пока мудрец наблюдает за их телодвижениями с берега. Но никаких (даже мысленных) телодвижений они совершить не успели, конечно.

– Не трудитесь! – сказал рыжебородый. – Да и я не буду. Он сам отыщет на себя управу.

После чего отвернулся от Ильи (который, услышав его приговор, не удивился). И легла между ним и Ильёй нестерпимая даль. И что об этой дали было сказано, и что осталось не досказано – всё оказывалось несказа́нным.

Стороннему наблюдателю: живому душой; но – не затронутому катаклизмом (буде такой человек в мироздании возможен) стали бы видны тектонические подвижки в дощечках паркета, и слышны стали бы магматические пульсы каждого присутствующего.

Словно бы даже их дыхание могло стать причиной локального землетрясения где-нибудь в Гондурасе. Но главным было другое: с этого момента клуб начал тяготить Илью, поскольку уже отдал все то небольшое, чем обладал – причем тяготить нестерпимо!

– Итак, о твоей цене.

Илья говорил вслух. Разве что от рыжебородого чуть отвернувшись. Исподволь взгляды-вая на зеркало и (благодаря зеркалу) становясь как бы везде. Чтобы стать этим «везде», никаких телодвижений не требовалось: зеркало словно бы сбросило с себя осколки телодвижений и (это разные вещи) осколки личностей.

Говоря, Илья словно бы поднимал непомерную тяжесть: знание того, почему серебряная стена почернела. Поднимать эту тяжесть (и говорить о ней) не было никакой нужды, но и не делать этого не получалось.

– Ты захотел дать мне смерть, небольшую и робкую.

– Робкую? – рыжебородый обиделся – Я убил тебя дважды! Почему ты (пока что) не умер?

– Я не принимаю подарков. Я всё беру даром, – ответил псевдо-Илия.

После чего безразлично предложил:

– А ещё я меняю одно на другое. Но тоже даром. Поэтому предлагаю тебе обмен, – казалось бы, безразличие Ильи к тому, что какая-то смерть нежданно удвоилась, объяснялось тем, что лицо его стало прямо-таки космически нагим и – прямо-таки незыблемым в ледяном астрале азбучных истин.

– Какой обмен? У тебя ничего нет.

– Не совсем так. До прихода сюда у меня действительно ничего не было. А вот теперь уже есть твоя смерть, – здесь он не стал улыбаться, просто подытожил:

– Это – либо одна твоя смерть, либо – две и более смерти; сколько их у тебя – всё равно: что вверху, то и внизу.

Рыжебородый молчал.

– Это – не мои смерти, и – не они мне нужны. Укажи мне мою единственную жизнь, и за это я напомню тебе твою лютую цену.

Рыжебородый – не поверил. Или – принял такой вид: вестимо, и бесы веруют, но трепещут.

– Неужели ты, глина, укажешь, что для меня наилучшее?

– Наилучшее для тебя вполне недостижимо: не родиться, не быть вовсе, быть никем. А второе по достоинству для тебя (ведь и у тебя есть достоинства), то есть – для тебя наиболее предпочтительное: скоро умереть.

Эти (обрекающие) слова Илия взял из книги «сверхчеловека» Ницше. Услышав, Рыжебородый – побледнел смертельно! Даже яркие веснушки на его щеках (известно, в мире нет весны – ведь она постоянна) сделались почти невидимы. Стали казаться пятнами весенней грязи.

Тишина, подобно зимнему пушистому и доброму тигру, вошла в зал и осталась. Рыжебородый стоял посреди тишины, показалось, он тоже стал некасаем! Как булатный клинок для опускающегося на него лоскута (которому – не бывать рассечённым).

– Я никогда не соглашусь с этим.

– Ну и что? Твои слова пусты, как и твоя титаническая слава. Теперь укажи дорогу.

– Хорошо, – молча произнес рыжебородый; впрочем, и это слово было пустым и совсем лишним – ибо в это мгновение иссякало сегодняшнее бессмертие Ильи; конечно же, и оно могло бы иссякать бесконечно; но – сейчас иссякла и нужда в бесконечности.

Впрочем, обоим сие было ведомо.

– Пусть он свободно уйдет.

– Но учитель! Пусть хоть зеркало оплатит, – бормотнул рукастый.

И тогда Илья просто вымолвил:

– Сколько?

Он вышел под дождь. Вечер уже завершался, наступала ночь. Тьма и дождь были повсюду.

Капли рождались, могло показаться, из самой тьмы: как пыль мировой энтропии, гонимая ветром! Капли зависали и плыли, ими (каждой отдельно) приходилось дышать. И очень скоро губы Ильи оказались смазаны пустой влагой. Как губы пустого идола во время кровавого и бесполезного подношения.

Но на следующий день, то есть в среду, дождя не было. Не было нужды проходить между порассыпанной повсюду Летой или переправляться через Стикс: персонификация каждой (на смерть разящей) капли достигла своего экзи'станса! Да и смерть обрела себя и стала участвовать в событиях лично.

Илья опять поднялся из подземелий метро. Он опять свернул к каналу и широкими шагами пересек его. Толпа вокруг него опять была бурливой и пенной; к тому же сегодня была среда.

И она (и как день недели, и как ареал обитания) близилась к своему вечеру.

После моста он свернул на набережную и пошел вдоль воды и руин давешнего (вавилонского) универмага: их и на этот раз ему пришлось миновать, вот разве что с другой стороны. Но не только это оказалось сегодня иным.

Теперь он шел не один, и число теней от Чёрного Солнца выросло.

Сейчас рядом с ним (и почти невидимой всем) шла тень всех его теней, прошлых и будущих – сейчас рядом с ним шла его личная смерть! Она, как известно, женщина и желает сочетаться или даже повенчанной быть с живым человеческим сердцем.

Как и любовь, смерть способна меняться и стать взрослой. А потом и превзойти себя. Как и любовь, смерть способна быть безответной. Как и любовь, смерть может казаться наиболее возможной из жизней. Как и любовь, смерть способна изменить всё и всем.

Он шёл к неприметному зданию, расположенному около автомобильной стоянки.

Прихожая, где он оказался, была высока и просторна, и несколько неряшлива: совсем как прихожие заброшенных петербургских дворцов, в которые так легко, казалось бы, войти и откуда ничуть не труднее, казалось бы, выйти; вот только цель своего прихода объяснить далеко не так просто.

Разве что взгляд оттолкнется от зыбкой штукатурки стен, и взлетевшее сердце не будет рассечено этим взлетевшим взглядом.

Приходить сюда не возбранялось никому (казалось бы). Оттого в прихожей всегда былолюдно; или только казалось, чтолюдно, ибо не было пусто. Молодые мужчины и женщины входили и выходили, говорили и смеялись, и не молчали.

А даже если молчали, имеющий душу да слышит!

Порою они понимали друг друга с полуслова, порою понимали даже непониманием: всё в них говорило, и сами они говорили – всем; и то, и другое, казалось бы, никому не мешало и – происходило стремительно, и ощущалось физически, как воздух высокогорий.

Благодаря этой стремительности возраст людей как бы терялся и не давал себя определить, становился чем-то несущественным; если очень упорно вглядываться, чаще всего лет им оказывалось около или немного за тридцать; любые их движения (причем не только метаморфозы внешности) оказывались скупы и невесомы.

Сам Илья, после вчерашних с ним приключений, (казалось бы) совершенно не изменился: рядом с ним (немного невидимо) так и остался вчерашний незатейливый (летейский) дождик, обернувшись каплями холодного пота, на лице почти незаметными.

Смерть дивилась его упорству и презирала упорство окружающих. Он ничем ей не отвечал. Потом его отвлекли.

– Вы кого-нибудь ищите? – девчушка, что к нему подошла, была мила и спокойна и словно бы безопасна (именно что – подошла без опаски).

Гладкое личико (как вечно юная галька морская), стройные ножки, тонкие запястья, нежные ступни; как нежна она и как не правдива! Казалось – подобная гладкость покрывает лишь бездумную юность – но псевдо-Илия смог, взглядом чуть прикоснувшись к покрывалу внешности, прикоснулся и к бесчисленности тысячелетий.

Он смотрел на неё. Видел века, что так и не миновали. Да и с гладью её юного лица ничего поделать не смогли (она была необходима именно такой). А его мир опять изменился: никто и ничто не сдвинулось с места; но само место словно бы сдвинулось.

Взгляды нескольких людей (он не обратил бы внимания, но – эти люди словно бы выступали из плоской реальности) неощутимо коснулись его, и – вокруг него тотчас закружилась несуществующая метель, и (из якобы несуществующей тьмы) полыхнули волчьих глаза; беспощадно!

– Ищу. Яну, – он скупно и невесомо ей кивнул. Точно так же (невесомо) коснувшись ее негромкой и прекрасно себя ощущавшей души.

Прикосновение длилось меньше удара сердца; но – она почувствовала, её ресницы затрепетали; её сердце ударило: она захотела освободиться. Сначала он не позволил; потом, помедлив, отпустил её.

А она сочла его позволение слабостью.

– Неужели Яну? Вы? – она разрешила бы себе усмешку (если бы снизошла до усмешки), но ее охранители – те не просто снизошли, а прямо-таки обрушились любезными оскалами.

Он (в ответ) опять скупно кивнул. Она могла быть заинтригована его спокойствием; но – её (саму) немедля настигло эхо собственного сердца, и – она полыхнула гневом, объяснить который она не могла; потом – она успела опомниться. Это заняло меньше удара сердца, и – она успела удержать от рокового броска самого ретивого своего охранителя.

– Ну, ждите-ждите! Вы дождетесь, скорее всего, – в её рыжих глазах (как и в глазах молодых волков, не теряющих к происходящему плотоядный интерес) мелькнуло стальное и веселое понимание.

Помедлив, девчушка от него отошла. Тогда и остальные (почти) отвернулись.

Он нашел свободное место на скамье у стены. Сел и приготовился к ожиданию. Он умел готовить себя к волшебству Потому – даже смерти разрешил он присесть с ним рядом. Смерть, кстати, не приняла облика той смертоносной девчушки с рыжими глазами. Но лишь по одной причине: и так (почти отражением в зеркале) очень на неё походила.

Впрочем – не внешностями они (со смертью) здесь были заняты: им было чем себя занять. Они вспоминали день прошедший и завтрашний день они иногда вспоминали; впрочем, любые дни (минули они или ещё предстоят) заключены в скорлупу нетерпения и ложного выбора; кто посмеет разбить скорлупу?

– Если поставить перед собою задачу уничтожения смерти (а есть ли в мире уничтожение?), разве она стала бы менее выполнима? – спросила сама себя смерть – или могла бы спросить.

– Разве культурный прогресс (а был ли в мире прогресс?) ставит такие задачи? – вопросом на свой вопрос ответила смерть – по своему обыкновению она именно с примирением себя и равняла.

По своему обыкновению она (специально для него – и ни для кого более) не полностью приняла внешний вид той девчушки с рыжим и радостным взглядом; тем более – смерть не полностью приняла её внутренний вид; ведь даже персонифицированные атомы, полностью тождественный, разнятся в оттенках своего эго.

– Разумеется, ставит; но – примитивно и плоско (как *deus ex machina*). Доводя до совершенства какую-нибудь нанорегенерацию или ещё что-либо (количественное, а не качественное), – ответом на вопрос ответила смерть (и в этом для смерти нет ничего необычного).

Интересный получился моно-диалог. Все человеческие диалоги с миром (смерти) – на вес суть монологи или сны! Все человеческие (обыкновенные или необыкновенные) утверждения суть вопросы и – всегда утверждают только одно: красивой или некрасивой буду я (твоя смерть) – решать только тебе (мне незачем).

Здесь она опять ответила (на всё) – вопросом.

– Да, конечно, – опять спросила она. – Ваш культурный (а была ли культура?) прогресс меня (настоящей смерти) просто не знает, потому и его самого высоко ставить нельзя; человеческая культура основана на дарах Прометея: что не изменит любовь, что вечна юность, и не горят рукописи и холсты.

Илья слушал. Ведь его суженая-ряженая собеседница говорила, конечно же, не о прогрессе и даже не о Прометее (псевдо-лукавом титане, оставленном в Атлантиде), а о самом Илье; то, что говорила она о нём в третьем лице (называя его внутренний мир культурным прогрессом), давало ей возможность как бы привлечь его самого ко потустороннему взгляду на самого себя.

То есть посмотреть на живого себя из смерти. На его ветхозветное «я» и на его новозаветное «я», и на любую тщету любых его самоутверждений, и на любые самоутверждения его тщеты.

И пусть она с ним говорила не гордо (но и – прегордо), она при этом оказывалась многократно мудрее гордыни. А ведь (как уже говорилось) – коли увяз коготок, то и дискурс бессмыслен.

Впрочем его суженая уверенно продолжала:

– Ваш культурный прогресс! – она почти улыбнулась. – Если подвергать сомнению только два понятия из трех, остается бессмысленное слово «ваш»! Санитария, гигиена и полеты искусств, казалось бы, несомненны, но всё уравнивается несомненным прогрессом унификации душевных патологий.

Она опять (почти) улыбнулась Она опять (почти) опережала его возможные возражения. Она опять (почти) опровергла бы их – когда бы он стал возражать; не дождавшись, она стала стремительней, нежели половинка пульса!

– Любовь моя, ты не согласен? Или – мне повторить имена человеческого вырождения? Персональные имена каждого атома?

– Нет, просто повтори имена, – он мог бы ответить, что имена вырождения – в иллюзии из них выбора (а выбор есть суть человеческой нормы); но он опять ничего не ответил, зачем?

Она почти не лгала.

– Хорошо, я сама повторю имена, – сказала смерть своему самому первому (доставшемуся ей) человеку – и опять он ей ничего не ответил, зачем?

Ведь (отвечая смерти) он много раз был не прав. Но (не отвечая смерти) он тоже много раз был не прав. Поскольку вся эта история – летопись не только одного реального мира, но и прочих миров человека (находящего себя в лабиринте); кроме того – это всё та же (и всегда – вечно другая) история о Перевозчике через Забвение.

А так же и о всех остальных перевозчиках через Лету.

Эта летопись ни в коем случае не затрагивает каких-то глубин или вершин, выступивших из повседневности – напротив: взглядитесь (или – даже не приглядывайтесь): ведь сейчас перед нами именно что повседневность.

Разве что в данных нам месте и времени (почти не отличном от Санкт-Петербурга, а так же видимого нам Ильи и пока что невидимой нам Яны) этого человека называли Хозяин Лесной Заставы!

Но даже услышав это необычное имя, Яна своего ратоборства в спортзале так и не прервала.

Вышеизложенный текст можно было (бы) произносить хоть на языке до-вавилонском, хоть на языках первоначальной немоты. Всё равно человеческое косяязычие (даже если не поминать всуе уродливую рукастого псевдо-Ноя или скромную прелесть светоносного учителя бандитов Прометей) остановится на нижеследующем и главном для себя: на выживании и цене за него.

И мало кто поймет, что человек выживает независимо от того, умрёт он или нет. Потому от вещей более-менее обобщающих я перехожу к вещам гораздо менее вещим! Но несколько более прикладным (даже в невидимом).

Простите меня.

В полном соответствии седым варяжским рунам или славянским резам у подножия не менее седого и увенчанного капищем кургана (что невеликим величием своим бесчисленно уступал маленькому набату мальчишеского сердца) маленький стрелок из лука Павол по про-

звищу Гвездослав молил бога, любого из своих неочерствелых ушами богов, чтобы тот даровал ему сновидение.

Он ещё не знал, что через сотни лет его нынешнее имя будет отдано одному из малоизвестных славянских поэтов. Он ещё не знал и никогда наяву не узнает (причём не через сотни лет, а именно здесь и сейчас) своего настоящего имени.

Но полную о себе правду он желал (бы) узнать немедля; и одним из двух известных этому способов был вещий сон. Тот самый, младший брат вещей смерти (то есть первого и окончательного способа); второй способ – сама (большая) смерть.

Но до сих пор никакой (ни большой, ни малый) сон к нему вообще не приходил. Словно бы наяву оказывался Павол повенчан с младшей сестрой бес-смертия (такая вот ассиметрия).

Близился вечер. Мальчик видел, как облитая вечерними лучами, притаилась в траве паучиха. Видел, как прямо в центр большой ромашки упала пчела. Он слышал, как в тяжелом от накопившегося зноя воздухе вязло, затухая, её жужжание (но это была чужая история чужих сновидений).

Он не улыбнулся, когда посреди мучительной тишины паучиха-смерть поползла вверх. Он не стал ей мешать; хотя он вовсе не предвидел псевдо-Илию (который сейчас тоже беседует со своей смертью в предбаннике некоего спортзала в Санкт-Петербурге); он даже не знал о том, что в человеческом роде каждый Адам может сказать своё «Бог жив».

Он даже не верил (откровенный язычник), что от смерти можно уйти только вверх (не остаться в её плоском миропорядке); здесь он был бы солидарен с неким неведомым ему Гильгамешем, могучим героем.

А вот то, что образом псевдо-Илии (растиражированного, аки книга, пророка) может оказаться каждый настоящий мужчина, Паволу предстояло увидеть во сне (которого он у подножия холма не получит). Сейчас (в небольшом своём здесь и сейчас) Павол Гвездослав повернулся на спину, положил под голову руки и зажмурил глаза.

Ни о паучихе, ни о пчеле он больше не думал. Как не думал (ибо не знал таких отвлеченных символов) ни о перевозчиках, ни о тех, кого перевозят. Но его сокровенное уже приходило к нему: паучихой или пчелой.

Его сокровенное готовилось еще раз посетить его. Ибо в самые разные эпохи именно из таких, как он, вырастали великие мистики и великие полководцы; и только поэтом он ещё никогда не был (или мог бы подумать, что не был).

Вчера, на стрельбище, он впервые удержал в воздухе пять точных стрел. В то время как шестая (уже за две сотни шагов!) била мишень точно в голову.

Тогда-то и стал он по настоящему одинок. Хотя не достиг и двенадцати весен. Хотя (по сути) был плотью от плоти и кровью от крови подобных себе. Но у возраста бессмертия (а не как у любого персонифицированного атома в этом сыпучем миропорядке) есть личное и единственное имя.

Расцветая по весне (или воскресая из маленькой смерти) на какое-то время в каких-то месте и времени все так или иначе имя своё узнают; впрочем, для таких, как он, весна была постоянна и повсеместна.

А раз так, то и малого воскресения весны для Павола словно бы нет: он сам себе изменение своего мира.

Но до сих пор он был прост и жил на самой поверхности чувств. Луч солнца на коже, ветер касается волос, дыхание дышит воздухом и душой. И вот теперь он, прообраз будущего малоизвестного поэта, лежит у подножья (якобы) седого кургана. Теперь он молится, чтобы боги простерли над ним свою длань.

Более того: он пришел заявить на их длань свое гордое право.

Известно, что (чаще всего) именно в сновидениях является людям их бессмертие (понимай, не сами бессмертные); известно, что и что человеку без таких сновидений и без признания

богов обойтись достаточно просто (всего лишь понимай свое место!); не менее общеизвестно, что и до Павола и после него без такого (признанного богами) бессмертия обходились многие.

У слова «многие» есть ещё одно имя, означающее простую вещь: практически все. Таких «многих» для простоты называли простецами – что совсем не обидно: есть в простоте исконная мудрость.

А вот коли боги простерли-таки над тобой свою длань, вот тогда – хорошо понимай, что ты не станешь умнее и не станешь глупее! Но весь этот плоский мир (вместе с твоею природой) для тебе перекинется из одного (твоего) во всё (опять же – твои) миропорядки; причём – все они и так были (до тебя) в тебе и будут (после тебя) в тебе самом.

Не правда ли – не просто просто, а ещё проще: ты (поимённо и всегда конкретно – ты) не станешь линейно бессмертен! Зато – ты почти навсегда перестанешь быть смертным.

Весь твой мир станет для тебя преходящим (то есть – станет приходить к тебе сам); отныне – не единственный и неповторимый ты (из всего невообразимо объёмного мира) сам себе выбираешь по силам трепетные (на солнечном ветру) пелёнки мирков, а он (тоже сам) уже выбрал единственного тебя из множества – тебе и себе (то есть целокупному миру) подобных.

И всё это по одной очень простой причине: именно ты стал его изменением. Перестал – быть, но настал – повсеместен.

А если боги и не даруют тебе вещего сна, ничего не изменится в сути твоего бытия: боги всё равно назначат тебе твою лютую цену. А пока что смиришь, наивный и дерзновенный, и бес-сонный Павол: всё ещё впереди. На то и даны людям перевозчики и привратники (иначе, лукавые и светоносные демоны Максвелла).

Во времена Павола Гвездослава (то есть здесь и сейчас, а не где-то там в первобытных табу и тотемах) именно для этого и предназначалась Лесная Застава. У светоносного Хозяина которой во все времена имелось много обличий, но – только одно на всех послушание.

Ведь и Прометей обучить может не только предков бандитов-данайцев (дары приносящих) или бандитов-данайцев годов девяностых (даров возжелавших); способен лукавый титан дороги указывать (даже) славянским отрокам невесть какого столетия.

Каждый отрок, сумевший удержать в воздухе шесть точных стрел (даже ежели сны не являлись), уходил к Хозяину Лесной Заставы и узнавал себе цену, и становился способен занять только свое неоспоримое место: всего-то и надобно было вернуться из леса живым.

Возвращались не все, но все становились разными.

После возвращения они (кто на деле постиг невидимые основы видимого человеческого неравенства) никогда не поминали о Заставе всуе. Даже те из них, которые стали признанными сновидцами – духовными вожжами народа, предлагавшими ему то или иное будущее (а так же настоящее и прошлое).

Так или иначе, все вернувшиеся (с другого берега Леты) оказывались более чем достойными членами общины; (опять-таки) даже те из них, которые стали признанными сновидцами – хотя им приходилось тяжелей всех: каково это, вы только представьте! Каждый день выслушивать одни и те же унылые разговоры об одних и тех же унылых ошибках.

Но Лесная Застава хорошо выбивала гордыню из маленьких сверхчеловеков, учила сдержанности и самодисциплине; хотя – сложно даже представить, каково это: видеть невидимое и изменять видимое, и всё равно знать, что всё и всегда – возвращается на круги своя.

Конечно же, эти вещи (коли они возвращались из леса живыми) становились самой гордой элитой народа; но – только Перевозчик владел коммуникацией через Лету, и только Хозяин Лесной заставы возвращал выживших в мир живых.

Казалось бы – он вовсе не забирал души из мира; напротив – какие-то души насильно возвращал в мир; разве что каждой указывая (каждой душе) её неизбежное место в готическом своде кристалла, где каждой атомизированной персоне отыскивается инструмент – звучать до-ре-си: любой версификацией альфы; но – и никоим образом не омегой.

А вот был ли сам Перевозчик (на деле) лукавым титанам? Или был всего лишь человеком, которому оказалось возможным произносить приговоры другим людям? Не знаю и знать не хочу; но незавидна его участь – она не для людей, познавших, что возможно невозможное: не судить.

Потому – и не мне рассуждать о природе любых учителей для (прошлых и будущих) дарами богатых данайцев (прогрессивных бандитов).

А пока что Павол ожидал и молился. Он всё ещё был прост и всё ещё не знал сути вещего: не оно распределяет души людей в пирамиде созвездий! Зато сами люди судят о вещем (бесмысленно), но становятся (осмысленной) вещью.

А пока что Павол просил себе вещего сна. Но хоть и молился он истово, и (временами) накрепко зажмурил глаза, сон никак не шел к нему – не хотел или не мог прийти! Быть может, это боги являли свою дальность и хорошо эту малую глину разглядели (причем – не только и не столько вширь и вглубь, и ввысь).

Меж тем время, отпущенное ему (и богам – о чем боги предпочитали не всегда вспоминать), стремительно истекало; и вот здесь первая сложность: иссякает родник, истекает кровь из раны, остывает раскаленное добела железо; но – то ничтожное время, что отпущено нам на так называемый выбор, окончательно иссякнет лишь, когда полностью (в каждой кровавой капле из песочных часов) персонифицируется.

В каждом своём кванте света и тьмы – преодолет даже себя; и вот здесь-то сложность вторая: прозрение, приходя к человеку, который к нему не готов, перестает быть прозрением и становится так называемым отсутствием выбора.

Человек (слепо) прозревший – лишён свободы; он не ищет, но знает.

Каждый из нас тороплив в выборе. Оттого единственный призыв к человеку, взыскующему прозрения: не выбирай! Если лукавый светоносец протягивает тебе два сжатых кулака и предлагает выбрать, не выбирай.

Ибо ведомо: любые нетерпение и торопливость ни к чему привести не могут (ни к хорошему, ни к плохому – таких понятий в прозрении нет совсем); что любые попытки переступить через голову ожидания (посредством бешеного адреналина или скверного алкоголя, или еще какую похоть) есть не более чем «просыпание»-«досыпание» кровавых песчинок в песочных часах.

Не более чем написание великой книги по имени Многоточие.

Хотя поначалу (поставив свою первую точку) может даже показаться, что каждая такая просыпанная (или добавленная) песчинка песочных часов отодвигает нам сроки завершения этой великой (не знающей завершения) книги. Вот и Паволу (всего лишь) кажется, что к его нынешнему (реальному) сновидению возможно добавить и сам вещий сон (каким бы он ни был).

Что всего-то лишь ещё одна добавленная точка завершит плоское прошлое и начнёт объёмное будущее; что объём тоже точка (причём – не первая и не последняя, и не посередине, а просто невесть какая) – знание об этом придёт (если придёт) только тогда, когда отпадёт нужда в завершениях.

А пока что Паволу снится, что он насильно ото сна отлучён.

Потому – даже когда он распахивал зажмуренные веки, то (всего лишь) ещё одну песчинку просыпал из часов; потому – когда зажмурил глаза снова, досыпал в часы ещё одну песчинку: от его желаний и не-желаний ничего не зависело.

Он всего лишь проявлял нетерпение, которое ни к чему не вело.

Так быть было должно; однако всё оказалось не совсем так: посреди многоточия реальности Павол негаданно распахнул глаза удивительно вовремя; и – особенно выделило эту своевременную песчинку часов его (Павола Гвездослава) сердцебиение.

Во время – чтобы увидеть временное: эту архимедову точку опоры словно бы поместилось всё его сердце, причём с удвоенной силой.

А так же – (наконец-то) увидеть тех, кто направлялся к нему решить его становление. (наяву, не в сновидении). Не боги, но люди богов (числом трое). Они – вышли из капища; а марево лета – дышало духом: лето переходило в Лету, и чтобы быть через неё переправленным, требовался помянутый выше титан-Перевозчик.

Но перевозчика (ещё словно бы) не было среди этой троицы. Перевозчиком не являются – всегда, им становятся (когда надо).

Здесь – происходила некоторая смысловая путаница: переправлялись через Стикс, а пили воду забвения из Леты!

Одновременно – никакой путаницы не было, ведь перетекание из природы в природу сопровождается уничтожением персонификаций (всё может стать всем); но – только для тех, кто сам стал изменением мира. И только на бесконечный и краткий (как бессмертие) миг.

А потом мальчик сам вскочил на ноги (вослед сердцу) и – стал глазами пожирать тех, кто вышел к нему: они шли, сминая траву! Они надвигались, как гонимые ветром облака, и мягкое утреннее солнце стлалось им под ноги.

Первым, разумеется, шёл и надвигался сам Храбр; показалось, что вместе с утренним солнцем на мальчика надвигались и косая сажень в плечах, и многие шрамы на теле, и многая слава, и многие страны, в которые и на которые важивал он дружину либо торговых людей.

Но (самое главное) – вместе с ним надвигалась его ошеломляющая молодость, невиданная и завлекающая. И как бы оправдывающая любые твои (мои или чьи-либо) нетерпения: поторопись ему уподобиться! Стань телодвижением тела – а умножением души станут его спутники, два дряхлых волхва, что едва поспевали за Храбром.

Разумеется – Павол Гвездослав был завлечён. Свращён и ослеплён лживым обилием зрения; казалось, ему давался шанс себя оправдать (за то, что невидимый мир обошёл его стороной); разумеется – Павол вполне закономерно оправдал себя, потому – на ступавших следом за воеводой волхвов (седобородые, руки как плети) он почти не глядел.

И не видел, как вязко густеет позади них звонкий утренний воздух. Не видел невидимого: что негромкою была их совокупная воля, но почти всесильной; даже могучий Храбр сейчас оказывался и был не более, чем ее острием.

А то, что пока лишь одного воеводу и торгоша поедал глазами Гвездослав, в его природе его ничего не изменило. Ведь Павола, как и любого юнца, всего лишь принуждали (или убеждали, не всё ли равно) смириться с бесплодием даже не отдельных «тела» или «души», но «души над душой».

Они и вышли к юнцу – лишь когда решили, что юнец с бесплодием своим примирился. Тогда как он всего лишь отвлёкся. А наивные (во многом очерствении мудрости и преумножении печали) волхвы в его смирение поверили.

В их оправдание (ведь у каждого свои оправдания) можно сказать, что даже их заблуждения не имели определяющего значения (о чём они ведали). На первый да и на второй взгляд (каждый день – новый день; но у каждого дня одни и те же вечер и ночь) основания доверять своим взглядам у них были.

Они подошли – казалось, они шли очень долго! Да и потом – продолжало казаться, что они всё идут и идут; даже когда они остановились перед ним и – какое-то время стояли (как курганы над ним возвышаясь), их движение к нему не оказывалось завершено.

А ещё какое-то время они в него вглядывались. Но (опять-таки) – ничего в нем не углядели, и – опять пренебрегли им.

Наконец Храбр обернулся к волхвам, и те молча ему кивнули. И тогда воин и торговец поклонился волхвам. Такого же почитания ждали они и от Павола. Но не дождались, мальчик словно бы окаменел.

Тогда – Храбр обернулся к Паволу и положил свою тяжелую ладонь ему на плечо, но – сгибать не стал; незачем! Дескать, совсем уже скоро и сам мальчонка сыщет себе (на себя) управу, а гордыне его на Лесной заставе подберут именно ту узду, которая не сильно будет ему натирать подбородок души.

– Нам пора, – воевода легко, как пушинку, развернул (ах, если бы мироздание так было так легко обустроить) мальчика и повел перед собой (вот как давеча его перед собой погоняли волхвы), продолжая все так же сдавливать его плечико.

Вот так они и пошли вдвоем, сминая траву. Очень скоро, уже через несколько шагов, воевода мальчика отпустил и они пошли быстрее, а потом и еще быстрее. Но ложь, что уже произошла, ничуть не уменьшилась.

Волхвы смотрели им вслед и видели сминаемую траву. Но не видели сминаемых пространств и времени. Они видели в мальчике глину; но – не видели, что именно перед этой глиной всё мироздание готово перековаться в кусок разноцветного детского пластилина. Но волхвы смотрели им вслед и видели только себя.

Прошлых и будущих себя. О настоящих они не имели полного представления. Иссохшие руки как плети, как паутина их бороды. И думы их были как тополиный пух, прозрачный и некасаемый и ничем не напомнивший гонимые бурей грозные лохмотья; и ничем не напоминавший о бессилии богов, изнемогавших в каменных объятиях Неизменности.

Они стояли – некогда высокие, некогда молодые, некогда очень разные. А теперь – почти потерявшиеся и почти неразличимые в пыльном океане персонификаций; так они стояли посреди (видимых только им, но – совершенно всеобщих) запустения и немощи.

Но только у одного из двоих (кто чуть пониже) под льняную рубашку и под правую подмышку скрыто дивное клеймо: два крохотных перекрещенных меча. Нет такого клейма ни у могучего Храбра, ни у вполне бесполезного (хотя – более чем умудрённого в следовании ритуалам) собрата-волхва; у того, кто якобы чуть повыше.

Который в делах ритуала оказывался кем-то вроде достославного Храбра. Получившего в житейских ритуалах практически всё, внешне человеку доступное.

А вот клеймённый волхв был причастен невидимой власти. И знал по себе: когда бы мироздание измеряло жизнь человека только невыносимой пользой, тогда и каждому простецу для оправданий своего бытия хватило бы преумножения печалей.

Так подумалось волхву. Так ломко сформулировал он оболочку мысли. Но смысл был прост: знал он, что даже слепцы иногда предчувствуют свет. Что и простецам случается прозревать.

И что он (клеймённый сновидец, властный и над вещим, и над вещами) внешне столь же однообразен и дрябл, как весь этот утренний (дневной, вечерний, ночной) миропорядок непрерывной весны (которой нет).

Он даже подумал об их, юного Павола и зрелого Храбра, видимом сходстве: юное пламя сродни разгулявшемуся пожару; но – полученная в результате зола отлична от другой золы (которая – от малой лучины) лишь количеством.

И что такое многие пережитые жизни (или – даже одна единственная ещё не прожитая жизнь), коли в них отсутствует чудо?

Волхв смотрел и не видел простого: что на самом деле это его очи присыпаны пеплом! Что и сны его давно ничего ему не обещают; да и приходил ли к нему когда-либо доподлинно вещий сон?

Вот он и смотрел, как прочь от холма идут живые; жив ли он сам? Впрочем – не совсем правы греки, когда говорят, что в мире есть только живые и мертвые, и ещё (особицей) те, кто ходит по морю.

Есть ещё те, кто хоть раз жил живой жизнью в мёртвом сне наяву. В котором мертвы даже живые сновидцы – просто потому, что горды своей властью над невидимым! Просто потому, что сами стали мёртвой пылью (причём – даже не всей пылью, а каждой пылинкой на особицу).

А Павол так и не увидел мёртвого сна. Потому (на самом деле, а не во сне) клеймённый волхв смотрел вослед уходящей от него жизни. Смотрел и надеялся, что когда-нибудь узнает о своей жизни беспощадную и полную правду; когда-нибудь, но – сейчас не видел того, кто мог бы ему на жизнь указать.

Он – стоял посреди своей слепоты (почти что осознанной), и – посреди своего осознанного одиночества, и – помнил о том, что жизнь оказалась длинной. Поэтому – так легко он смотрел им вослед: много их, таких вот простецов, уже не раз перед ним проходило (им только и остается, что проходить).

Но те двое, что шли прочь от капища (на самом-то деле расположенного не на вершине кургана, а несколько около), ничего не знали о праздных размышлениях зрячего слепца; они – продолжали жить; они – просто видели, как совсем рядом пасется не стреноженный, (и – не помысливший куда-либо ускакать) жеребец, боевой конь Храбра.

Видели, как с каждым их шагом становится он к ним ближе. Именно к нему вел мальчика воин.

– Садись! – сразу же, когда они подошли, велел Храбр.

Но как только мальчик потянулся к уздечке, конь захрипел и вздыбился. Огромный и черный, как арабийский джин, он восстал на дыбы и прынул на мальчика, этот невесть как попавший в дикие славянские леса арабский злой скакун!

Но – дар отточенных копыт пришёлся в пустоту (и не высек из пустоты искр); удар был славный и (вполне себе) смертельный – вот только мальчика не оказалось на месте; причём – даже Храбр (сжимавший плечо мальчика и одними рефлексами предполагавший вовремя его – всего мальчишку! – вместе с плечом отшвырнуть) просчитался.

Мальчик каким-то неведомым образом неощутимо прошёл меж пальцев и не менее неощутимо отступил в сторону; пустоты при всём при том на его месте не образовалось – мир (непостижимым образом) оказался целостен.

Копыта, бывшие частью мира (вместе со скакуном) просто и мягко ударили оземь.

– Садись! – повторил Храбр (ничего подобного не заметивший); мальчишку он невесть как упустил, а конём продолжил заниматься – и очень скоро скакун оказался усмирён; а мальчик опять не промедлил – приобнял коня и взлетел.

Конь, по обычаю, был лишь для Павола (перевозимого в смерть)! Воин (перевозчик в смерть) остался пешим.

Он повел скакуна в поводу – поначалу медленно, потом все более и более ускоряясь: таким шагом можно загнать в чащобе сохатого, а во чистом поле идти за своими конными днем и ночью и не отстать; особенно той дорогой, которой не единожды хожено.

Очень скоро достигли они окраины леса, и вот здесь стало совершенно понятно то, что было всегда очевидно (а не в этом ли тайна любых инициаций?): что свобода пойти на все четыре стороны света – кажущаяся!

Мальчик – видел, что воин вовсе не сам выбирает (как невод из омута) тропинку сквозь (именно что «сквозь»: то есть в плоскости, а не «через» голову помыслов) этот сразу ставший волшебным лес; чьи лабиринты невидимых троп словно входы будущих мыслей и их будущие выходы.

Это только поначалу Храбр повел мальчика так, что чаща для них оказалась совсем нехоженой: густой кустарник, поваленные гниющие стволы, старые звериные норы; оступись, и легко, как надломленная морковь, хрустнут ступня или голень! А ещё попадались неглубокие овраги, заросшие и почти неразличимые.

Не оступиться была нельзя. Но воин повел мальчика так, как будто перед ним тропинку льняным полотном расстелили – да иначе и быть не могло: не взирая на внешность чаши, перед ними словно бы стелилось чистое поле (единственно приемлемый, кстати, для чужедального скакуна путь).

Ничего этого, разумеется, не было. Но они на диво легко продвигались. Казалось, они сами по себе стали легки и подвижны. И даже боги сейчас не надзирали за ними; не было в том нужды.

Да и воин почти не таил, что ему наперед все известно, и что единственный груз, обременяющий сейчас его храброе сердце – это недостаток терпенья; действительно, на их пути ничего не случилось, и когда подступила лесная (ветви тьмы и провалы пространства) ночь, никто не поспешил из нее взглянуть; ничьи глаза не зажглись.

Один Храбр на мальчика время от времени взглядывал, да и то по обязанности; о чем думает он, когда эти взгляды бросает?

Конечно же, не о добре или зле, или предопределении: для торговца и воина они слишком определены и как вещи предъявлены. И не об именах «зла» и «добра», или (даже) чести или долга – это тоже филология (физиология имени); Храбр думает о том, отчего боги не надзирают за исполнением их воли.

Да и то: достаточно праздно думает.

Когда-то служил он в наемниках и был телохранителем у греческого басилевса; там он узнал и о древних эллинах, и о том, как они умирали. Всем умершим (без исключения) давалась одна лютая цена в виде вложенной в рот монеты; причем – именно этой (одной на всех) монетой платили они Перевозчику.

Храбр думает сейчас и о том, что когда переплывут они с мальчиком через лесную чащобу Забвения, то (по горькому праву перевозимого) сможет изменившийся мальчик Павол произнести ему (гордому воину) новое беспощадное имя.

В те времена в той местности не могли бы знать о приставке «псевдо» (вспомним псевдо-Ноя и псевдо-Илию), но смысл словоопределения псевдо-Храбр от перемен места и времени не поменяется.

Волхвы, конечно же, всегда обещают опасность сию отвести. Но волхвы всегда обещают (произносят обещание). И всегда исполняют произнесённое (разве что иногда буквально, а иногда многотолкуемо). А если именно этот мальчик не отдаст им свою по праву обретенную силу (не откажется от именованья)?

Но(!) пока воин и торговец мыслил и взглядывал, свершилось нечто вполне ожидаемое и всегда неожиданное: Павол наконец задремал.

Гордый Храбр эту пришедшую некстати (прозрения, как и любовь, всегда бывают не ко времени) доуку увидел, но – будить его (и лишать навсегда опоздавшей надежды) не стал: пусть и скудоумное, и вполне человеческое ожидало мальчика будущее; ну так и что? Пусть поспит и потешится снами.

Храбр – не мог знать, что этот мальчик видит сны с открытыми глазами. Видит не только бывшее с ним самим или даже рождённое здесь (без него), в лабиринте деревьев; видит он предстоящее или прошедшее (причём даже не с ним); богам (буде они надзирали) могло показаться, что мальчик не вполне человек (или более чем человек).

Что поделать, ведь и все прочие люди – иногда люди не совсем и не всегда только люди.

А вот то, что Хозяин Лесной Заставы не вполне человекен (согласитесь, это другое), воину было известно; как и то, что сам по себе мальчик – пока что отдан ему, а не Хозяину; и что с ним происходит в пути по псевдо-лабиринту леса, имеет отношение и к нему, псевдо-Храбру.

Очевидно ведь – уснув сейчас, он (словно бы напоследок) вышел из приутовленной ему скудоумной реальности человеческих инициаций; после которых инициаций он должен был стать (или его должны были сделать) вовсе не тем, кем он изначально является.

Дивно пылала его душа. И не только пылала. Она способна была переплывать через Забвение; причем – и туда, и обратно. И то, как его сейчас везли (так или иначе) убивать – чтобы потом (так или иначе) воскресить, не имело для него никакого значения; хотя – конечно же, все эти доблести и геройства, на которые его могла бы подвигнуть судьба (прежде чем так или иначе убить), они могли представиться даже прекрасны.

То есть – вполне по человечески полны. А вот те его возможные в лабиринте заблуждения (от которых его собираются уберечь – посредством введения в русло) вполне низменны и ни к чему не ведут; но – дивно пылала его душа, поскольку был дивен огонь.

Благодаря его зарницам лесная тьма не то чтобы отступила, но стала как-то пожиже; и не то, чтобы сама по себе засветилась какими-нибудь гнилушками или светляками; нет! Но она изменила природу – становилась вровень со зрением; которое зрение – тоже поменяло природу зрячести на природу прозрения.

Исчезала сама нужда себя (и кого-либо) измерять и судить.

А ведь маленький бог «из людей» – это всего лишь тот, кто всё измеряет высочайшею мерой; но – сам при этом вынужден кичиться достигнутой персонификацией: какой-либо (или – каждой) своей функции (сам при этом становясь функцией), доведённой до эски'станса.

То есть – боги не могут без нужды в себе. Не могут не дробить стихийный миропорядок и наново калейдоскопически складываться в отдельные Воду, Землю, Огонь и Воздух (обычное дело); а вот с перевозимым из смерти в смерть Паволом сейчас приключилось нечто на особицу.

Благодаря тому, что даже не зарницами в душе Павола, а всего лишь – их отблесками тьма перестала мерить по себе человека (или по человеку себя), она обособилась и – стала «становиться»! Стала присутствовать и рассветать тьмой.

Стала не то чтобы жиже или живей, но – пристрастней.

Если бы у тьмы была душа, можно было бы сказать, что душа тьмы сделала некое телодвижение; или нет, иначе: боги (не темные или светлые, но – из тьмы) взглянули на путников; они оказались затронуты в самом своём существе.

Тогда как быть богом – быть безучастным перед частностями (сами оказываясь вершиной своей части света или тьмы); но – в божественности богов (в доведении до стихийности их персонификации) никто не соучастен, тогда как они могут сколь угодно долго пребывать в своей части.

А вот если богов заинтересовала чья-либо участь, это может означать только одно: самый смысл их существования поставлен под сомнение (кем-то, кто со-участен этой их участи)

Боги не глупцы, понимают: став бессмысленным, перестаёшь быть в настоящем; перестав быть настоящим – очень трудно различать тонкости этого самого настоящего. Потому – боги пока что лишь взглянули на путников; точнее, какая-то часть их божественности на путников усталилась.

Пока – быть может, безо всякого себя выражения; причем – (очень может быть) часть эта была совершенно не божеской: должно быть, потому и приблизилось, что волчьи глаза полыхнули из чащи! А у Павола (с Храбром ли, без Храбра) осталась возможность до Лесной заставы доехать.

Причём – даже Храбр их (волчьи глаза) увидел; более того, углядев что-то вполне ошутительное, тотчас себя совершенно обрел. Храбр привычно потянулся к оружию и позабыл о незавидной своей роли, на которую его обрекал человеческий долг.

Более ничего не случилось – на этот раз боги (не) проявляли свою (очередную) бесконечность (не)терпенья.

Храбр – убрал руку от оружия и открыто (сразу всем Стихиям Света и Тьмы) улыбнулся. Возможная схватка с волками (даже только возможностью своей) поставила его вровень с очередным (и – как у мелких богов, всегда частичным) возмужанием: на миг он становился вровень самому себе, доведённому до уровня Стихии.

Был он язычник, и его хорошо обучали. Он знал, что люты и радостны боги – только лишь потому, что почти безродны и (на самом деле) никому до конца не нужны. Ведь происходить от «начала» Стихий означает ничего не ценить (кроме каких-то «начал»); все они не сродни человеческой душе, что является в мир посредством мучительных родов.

Что он знал о мучении рождения? Что сначала (и – не только от начала начал) рождается человеческое имя. Потом – это в муках рожденное имя произносится в Свет (не только Свет во тьме светит, но и произнесенное Имя); и тогда весь этот Свет – изменяется и становится миром, безучастным ко злу и добру.

И до тех пор, пока сам этот мир не проявит своего к человеку участия (просто взглянув на него).

Тогда носитель рождённого имени примиряется с миром, который он уже изменил. То есть судить о мире по тому, как мир относится к тебе – это только первый шаг доподлинного язычества; судить о себе (то есть произносить себя) по всем изменениям мира – я мог бы сказать, что это шаг второй (помните, как Илья наступил на бездну спортивного клуба?) или даже половина второго шага.

Храбр, меж тем, продолжал улыбаться! Гордый Храбр позабыл о Перевозчике и возомнил о человеческой власти; понимаете ли, такое с ним часто случалось и не раз такое ещё будет получаться со всеми прочими псевдо-«храбрами» (ничуть не дискриминируя: с псевдо-«илиями», «ноями» и даже «прометеями»).

Находясь «вдали» от сновидцев-волхвов, избавленные (как им мнится) от власти невидимого, эти вполне достойные людям часто полагают, что они свободны – в полёте мысли (пусть даже ценою падения); потому забудем – о Храбре, но порадуемся его улыбке.

Порою Храбр (своим мнением о себе) успевал побывать высоко; просто – он не удосуживался понять, где именно находится (в каком качестве своего имени: псевдо – в невидимом, а Храбр – в материальном); пока мальчик пылал в своем полусне, Храбр всего лишь объединял телодвижения (и все эти якобы продвижения по темному лесу собственного черепа) с совершениями волшебства и прочими полуизменениями мира.

Он не раз и не два (вот и сейчас) убеждался в бесполезности любого движения; этим он (в очередной раз) подменял собой весь этот мир. Потому что распространил свою неосознанность на его недосказанность.

Но худо или бедно – шли они долго (и даже ещё дольше): выступили утром, шли весь день и всю ночь. То есть – были в пути ровно до тех пор, пока Павол не отогнал от глаз паутину чуждой его природе дрёмы; тогда и пробился сквозь покров листвы рассвет, и словно бы даже (как значимая персона) пошёл с ними рядом.

Видимым «это» – быть (бы) не могло. Более того – по прежнему могло показаться, что (даже вне леса, при полной открытости) рассвета всё ещё нет. А здесь, у самых корней подземелья, ночь всё ещё была безраздельна.

Но оба путника ощутили её смутную неуверенность (и вот только тогда они вышли из леса).

Тогда (со всей своей очевидностью) открылась перед ними очень большая поляна; поначалу её ещё сдавливали со всех сторон узловатые ребра стволов, но потом их общее сердце (словно бы на этом пути и мальчик, и воин, и лес стали единая плоть) получило возможность выдохнуть душу; их общее сердце немедля этим воспользовалось.

Ведь именно как сердцебиение в самом центре поляны возвышался терем.

Он не был окружен частоколом; более того, около него не оказалось даже какой-либо ничтожной, наведенной на плетень тенью плетня (пусть даже воображенной из переплетений пространств); и даже ещё более того: ни над дверью его, ни на маковке над крыльцом, ни вообще нигде не было видно обязательных оберегов жилища.

Либо – силы нечеловеческие свободно бывали сюда допускаемы. Либо – они сами когда-то бежали отсюда и (с тех пор) за сто верст с тех пор обходили, потому – не было нужды их отпугивать. А что до сил человеческих – именно здесь было их средоточие. Именно сюда силы человеческие приходили о себе вопрошать.

Терем – высился. Был одинок и свободен. Терем казался отечеством всем просветляемым душам; и ещё – он казался пустым.

Храбр направился прямо к крыльцу и перед ступенями замер (всё это время терем продолжал казаться пустым); и (перед самым замиранием) Храбру опять пришлось усмирять свои сердце и душу – они, как и терем с его пустотой, существовали отдельно; потому – о Паволе он вспомнил не сразу, а лишь после того как к нему (двери памяти не распахнувши) тихо вышли из тихого терема молчаливые тени тех, кого он когда-либо сюда приводил.

Потому – о Паволе он вспомнил не сразу, но вспомнил:

– Что же ты ждешь? Слезай, – произнес он, почти не прибегнув к губам.

Мальчик – не сразу услышал. Сейчас – он видел перед собой не терем (отдельно) с отдельной его пустотой, а поименно – разделенность своего существования (вот сам он как есть! А вот он тот, которому быть надлежит, то есть еще не бывавший!); потому – на пути своем от его ушей к его душе голос приведшего его к терему воина несколько задержался.

Но услышал-таки и подчинился. Миг – и он на земле. Земля – люто ударила о его ступни. Показалось – он упал с нечаянной высоты (показалось – подвели затекшие за ночь ноги); причём – даже не сами ноги подломились! А весь он, Павол Гвездослав, по маковку погрузился в утрамбованность почвы двора.

Именно в этом проявилась первая странность Лесной Заставы: в этой инаковости, в возможности бытия между мирами. Пребывать – не «здесь» и «сейчас», а в той тонкости, через которую эти «здесь» и «сейчас» меняют места.

Храбр (понятно) успел мальчика подхватить. Потом – дверь как сама по себе отворилась, и из пустоты терема (то есть именно из этой тонкости) вышел на крыльцо человек.

Человек был по виду не волхв и не воин, просто среднего роста.

Лицо его было просто лицом человека, пожившего и повидавшего на своем веку не мало, но и не много; и телом он обладал ладным (но в меру), причём – не из тех пустых и переполненных лишь возрастом (как вращанием в смерть) оболочек, что столь же оформлены, как и песок в часах

Почему-то казалось – он именно что из тех, для кого все течет мимо; а когда он якобы плывет мимо тебя по течению – всегда оказывается: течение уносит твоё тело! Это ты (однодневка) следишь за недвижимым в вечности.

А ещё – были у него на лице русая невеликая бородка и пронзительные глаза (пронзающие – чтобы стать осью души), причём – цвета совершенно изменчивого: такого, каким бывает посреди лета студёный рассвет.

А ещё – вокруг этого человека (совершенно иначе, нежели вокруг Храбра с Паволом) стелилась мякоть рассвета; и точно такими же стелющимися были движения Хозяина Лесной Заставы; в очерганиях этой мякоти сами собой ткались плечи и руки человека много и трудно работавшего с веслом или плугом, и босые его ноги как-то сами собой выткали шаг и ещё шаг, и ещё; в то самое время, как губы ткали слова:

– Здрaвы будьте! Хорошо ли добрались?

– У меня всегда хорошо, – по утреннему охрипло сказал (всю дорогу глаз не сомкнувший) Храбр; сейчас он был (бы) победителем ночных миражей, но – мягкое перетекание человека

в пространство и обратно (причем – прямо на глазах, причем – отдалённо от окружающего) вернуло его во власть миражей.

Потому так неудобно (как в голодные годы полову) перемальвали его скулы неудобно произносимый титул:

– Хозяин... – при этом, как и долженствовало, Храбр поклонился; но – несколько менее вежества.

При этом – Хозяин мелком на него глянул, причём – безо всякой обиды; причём – сердце Павола, распрямляясь после своего поклона, точно так же мелком о его необиду споткнулось.

А потом – точно так же споткнулось оно о тишину слов, что прозвучали вослед тихой и приветливой улыбке этого человека:

– Я назвал тебя, помнится, Храбром?

– Да, Хозяин, – сказал воин, потупившись взором (и состарившись сердцем, на которое Хозяин мелком взглянул).

– Я (перед нашим прошлым прощаньем) рассказал тебе притчу о Дикой Охоте; ты помнишь ли её?

– Да... Я вспомнил её, Хозяин! Ты, верно, и ему в свое время расскажешь? – воин кивнул было на мальчика, мелком при этом взглянув (как мёртвую водою плеснув); его взгляд, как о каменную поверхность ударив, разбрызгался. Потому что мальчик (лишь услышав о Дикой Охоте) как в столб соляной обратился.

– Не за этим ли приходите все вы ко мне? Но в здравом ли ты уме, воин, что слова говоришь и вопросы задаешь – когда не тебе это место и это время? Тем более что слова твои как о стену горох.

– Прости, Хозяин, – воин опять поклонился человеку, причём – в самом что ни на есть буквальном смысле: он одновременно поклонился человеку в самом себе! Он знал, что не был унижен.

Ему просто-напросто ещё раз напомнили, что каждому дается ноша вровень его силам. Что сколь бы себя не жалел человек, главное, чтобы – он сам себя возжелал настоящего себя (который вне времени).

Псевдо-Храбр, воин и водитель человеческих тел, мог бы с сочувствием отнестись к атлантовой ноше Хозяина (то есть – не к нему самому, а к его лютой роли): быть даже не судьей или определением судеб (вовсе нет!), а всего лишь разделителем и сортировщиком душ.

Поразмыслив – Храбр протянул руку и переворошил волосы мальчика. Причём – Павол очень этому удивился (уже чувствовал себя отдельно от воина); маленький стрелок из лука уже позабыл и дорогу через лес, и дорогу сквозь свои сны.

Отчего-то (не от его ли удивления?) – Храбр руку сразу же отдернул, а Хозяин усмехнулся в бороду; тогда – мальчик спросил:

– Когда я услышу последнюю притчу? – и вопрос этот не был вопросом сомнамбулы: что вы (мне) дадите узнать?

И была тишина. Храбр – не выказал ни негодования, ни ужаса. Хотя – испытываемый должен (как ему многократно твердили) молчать и слушать; впрочем – на Лесной Заставе порой не было различий между молчанием и делом.

Причём – о Слове и речь не шла: только Дело осознания ведомым собственных вершин (или низин – не было различий здесь, на Лесной Заставе); причём – руку воевода Храбр отдернул, поглядев на лицо мальчика: белей белого (аки мрамор Буонарроти тончайшей резьбы).

Хозяин – усмехнулся (на этот раз вслух):

– Которую из самых последних? Я имею в виду: по счету? Впрочем, ты все их увидишь (быть может, у твоего зрения имеется слух или осязание, или даже чувство, которое много позже называют шестым); ты их даже (если выживешь) – сам и наяву проживешь! Разве что

о Дикой Охоте я расскажу тебе перед нашим с тобой расставанием; если оно состоится, и ты не захочешь остаться на моем личном погосте.

– А которое (из последних) расставание? Я имею в виду: по счету? – спросил было (или мог бы ещё и это спросить) у Хозяина мальчик; но – это было бы неоправданным озорством.

Не сказал. Ибо видел: то ли Храбра не хотел еще более обеспокоить Хозяина (а что есть его беспокойство?), то ли сам еще не понимал своих собственных слов! Поэтому мальчик проявил негаданную чуткость, потому (попросту) – сказал о главном:

– Всё, причём – сразу! Расскажешь, даже если я останусь.

– Хорошо. Расскажу, что бы с тобой не случилось, – подумал Хозяин.

– Ты сказал! А я напомню тебе, чтобы исполнил, – подумал (ответно) мальчик.

Хозяин кощунственных мыслей как не расслышал. Поскольку – не нужны были Хозяину слова. Да и мальчику (уже) не всегда были нужны. А ушей Храбра, воина и торговца, слова не коснулись: он стал не нужен здесь (даже себе).

А ведь это большой вопрос: нужен ли хоть кто-то – здесь?

Ибо – мальчик видел, как неподвижны сейчас небо и утренний лес, как неподвижны рассвет и поляна с теремом; но – совершенно не нужны. Поскольку где-то совсем рядом есть новый рассвет и новое небо.

А они (все трое) сейчас могли бы оказываться в их собственной новизне. Но в результате ни один из них так «нигде» и не оказался.

– Что же, ладно! – безразлично улыбнулся Хозяин и (посреди молчания и посреди неподвижных рассвета и неба) не менее безразлично продолжил для Храбра:

– По обычаю после дороги положена баня, но ведь ты уже знаешь: тебе здесь не место! Твое время прошло, а его (Хозяин кивнул на мальчика) пришло.

Освобождаемый воин с готовностью закивал:

– Я привёл. Теперь мне, не мешкая, обратно, – и ещё раз чему-то смутился, и ещё раз произнес бесполезные слова, обращаясь к Паволу:

– Будь прилежен и послушен, и поскорей возвращайся.

Разве что волосы ему на этот раз не попробовал ворошить. Да и Хозяин, позабывши все человеческое вежество, принялся совершенно по человечески переминаться босыми ногами: земля с ночи была холодна, ступни мерзли.

– Прощевайте!

– Прощай, – (не) прозвучало в ответ.

Воин знал, что прошедшим (и выжившим после происшедших с ними изменений) возвращаться обратно к людям предстоит самим, потому более ничего не говорил. Он лишь еще раз поклонился обоим и развернулся, и пошагал деревянно; но!

Уже немного отдалившись от Заставы, заметно ожил и возлетел на коня (словно бы оживая все больше и больше); а потом – всё уверенней (и даже словно бы всю душой) устремился, причём – невидимо опережая коня!

И потёк вослед ему копытливый неслышный перестук по траве; псевдо-Храбр успокаивался, опять о себе возомнив.

Он ни разу не оглянулся; и хорошо, что не оглянулся: иначе мог бы навсегда узнать, что новое имя не всегда дается человеку в полный голос.

– Хватит о прошлом. Давай теперь о настоящем, – негромко сказал свою первую притчу Хозяин.

Словно бы знал, что говорит тому самому человеку (или «всё ещё» человеку), для которого настоящее вполне недостижимо: что оно заплутало и в прошлом, и в будущем.

А мальчик поднял на него глаза. Причём – сделал это медленно. Более того, сделал это послушливо: он всё ещё вслушивался в произнесённое «настоящее». Потому и смотрел он как бы многократно.

То есть – на (так называемого) Хозяина Лесной Заставы, потом – сквозь него, потом – опять на него.

Хозяин (именно что хозяин) сказал:

– Давай теперь о тебе. Как тебя до меня называли отец с матерью? – так он мог бы произнести вторую притчу; но – вопрос был бы человеческим.

Хотя – Хозяин полагал о себе, что (почти) весь из людей вышел; но – не только потому, что и у него под мышкою имелись два переkreшенных меча (да и сны его ещё живы); а потому лишь, что был он приобщён к власти над невидимым (ощутимо большей, нежели волхвы капища).

Умел он из нескольких «сегодняшних» завтра выбрать «завтрашнее» завтра. Но даже такую власть он полагал не более чем забавами человеческого детства. И он действительно многое (в отличие многих и многих) мог изменить в калейдоскопе иллюзий, причём – это «многое» для него сосредотачивалось в «немногом»: не вмешиваться и не выбирать.

Потому – ничего не спросил, и заговорил о другом:

– Скажу сразу, что ничего волшебного тебя у меня не ждет. Зато будет много самой простой работы по дому и в огороде. Да и поляну от леса защищать надобно, иначе начнет зарастать, – говорил он привычные слова голосом самым обиденным; и привычно, но словно бы ненароком, касался тяжелого кольца с ключами у себя на поясе; и видел быстрое удивление мальчика: славяне не знали замков.

Происходящее было обычным (как передача смыслов с рук на руки): Хозяин подчеркнул коснулся кольца, а экзаменуемый мальчик вполне предсказуемо удивился невиданной вещи; происшедшее было настолько обиденным и настолько предсказуемым, что и дальнейшая судьба мальчика была бы предсказуема (если бы не реакция мальчишки на слова о Дикой Охоте).

Не явились мальчишке вещие сны – ничего страшного, изволь себе в простецы, там тоже люди живут; но – слова мальчика были не обиденными, а волшебными (изменяющими и определяющими прошлое и будущее – делая их настоящими); внешне мальчик был так себе человек детёныш – не более чем песчинка в песочных часах.

Но могло стать и так: что часы, не успев пересыпаться полностью, вдруг окажутся перевернуты. Причём – вместо со всем мирозданием.

Потому – оказался Хозяин взволнован. Потому – любые «но»(!) волновали Хозяина; но – не могли волновать бесконечно. Ведь не раз и не два происходили они на его долгом (но не бесконечном) веку.

Потому – он был взволнован недолго, ибо что (и о чём) было думать? Все по полкам разложит сама Неизбежность, у которой Хозяин состоит в услужении Привратником; но – пока что никому (даже самому Хозяину) никакое имя ещё не было произнесено в полный голос.

Работы и в самом деле оказалось много, причём – привычное в ней самым что ни на есть волшебным образом переплеталось с невиданным; причём – и того, и другого оказалось ровно столько, чтобы к вечеру досуха вытянуть из мальчика силы; и вся эта работа лежала (вот как зимний медведь в берлоге) на Хозяине и Паволе.

Поскольку во всем неоглядном тереме они были одни. Более того – терем оказался (кто бы сомневался!) Лабиринтом. Причем – ходы его постоянно менялись местами.

О себе мальчик вполне мог правды не знать (досель), и – никогда не узнать (в дальнейшем); ну и что? К чему, например, знать тому же псевдо-Храбру, как (и почему, и кому) даруются и приходят наяву сновидения? Какое сиюминутное преимущество даст ему это знание в его повседневных делах?

А ведь это совсем другое, нежели разбудить медведя и сделать из него шатуна. Даже – полезного шатуна, такого как псевдо-Храбр или псевдо-Ной; о псевдо-Илии речь впереди.

Если бы Павола не перевез на своем боевом скакуне через лес воин и купец Храбр, и если бы не ожидал его в обители сновидений Привратник (своеобразный демон Максвелла), стали бы в нём (при дальнейшем благополучии простеца) пробуждаться возможности «бога из людей» (этот термин иногда точнее *deus ex machina*), или – он бы вскоре (так или иначе) тихо угас?

Казалось бы, в недотворённом мире – не всё ли равно: разве не на персональной атомизации и последующем иерархировании зиждется человеческая тщета «быть как боги»? Так что о дальнейшем на Лесной Заставе можно сказать: всё, что произошло – произошло просто потому, что ничего не произошло.

Или даже – нечему было происходить и негде. Более того, даже брёвна, из которых был сложен Лабиринт Лесной заставы, были не более реальны, нежели перекрещенные клейма подмышками у посвященных; бревна, вестимо, валили в том же лесу – они тоже оказывались не более чем иллюзией, сном во сне, вековой человеческой забавой; потому – поначалу позабавимся и (пядь за пядью) пройдем «несуществующий» лабиринт.

Всё же бревна (при всей своей ирреальности) были реальны и ощутимы – казалось, никак они не могли ни во что волшебное перекинуться; разве что – человеческий детеныш сам собой (лишь ступив под своды терема) перекидывался; будучи перевезён через Лету, в тот же миг он становился на границу самого себя (и мог за нее выйти).

Терем был лабиринтом, и множество переходов снизу доверху пронзали его, и множество комнат наполняли его; и вверх, и вниз велись и переплетались его кармические переходы; и не было в тереме четкого разделения на этажи: везде была неторопливая плавность осознания.

Тогда как очевидной (и практически невыполнимой) задачей Лабиринта являлось прозрение.

Сами комнаты Лабиринта (кармические ниши его) могли быть большими или малыми, но – глазам открывались они как бы брошенными горстью (без видимого умысла) разномастными камушками; причём – были все они переполнены диковинами из близких и далеких (даже и заморских) земель.

А так же (быть может) и из тех, что за Стиксом или – где Лета раскинулась; согласитесь, на что ещё путь через такой лес?

Но и здесь – у каждой комнаты была своя дверь! В каждую дверь был врезан замок – который был накрепко заперт; что тут сказать?

Выполняя работы по дому, следя или прибирая, Павол был принужден каждый раз обращаться к Хозяину за разрешениями и (если у мальчика в душе сыскивалось желание задаться вопросом) разъяснениями; но – даже если желания не было, работа должна быть исполнена.

Хозяин – подводил мальчика к двери и наказывал, что за данной дверью работнику надобно сделать (а потом требовал повторить слово в слово); а потом – Хозяин бесконечно неторопливо нашаривал у себя на поясе кольцо с множеством ключей; а потом – наступало это «потом»!

Мир невидимо (но! Уже не только невидимо) изменялся. Чтобы (в свой черёд) ненамного поменять сознание мальчика; а потом – (в свой черёд) сознание мальчика несколько изменялось. Затем, чтобы ещё на пядь изменить мир; то есть – уже следующий за следующим мир, которому предстоит продолжать менять его сознание.

Вот так реальные бревна терема перекидывались в ирреальность. Так (бы) изо дня в день всё и шло; но Павол (весьма скоро) уже побывал во «всех» комнатах перерождений и если и не исходил «все» кармические тропы, то уже мог убедиться в их неизбежной внутренней идентичности.

Это самое «всё» было крайне скудным и оказалось ничуть не больше так называемой «свободы»; но – Павол побывал во всех комнатах, кроме одной, хорошо укрепленной холодным железом; и только тогда пришла пора Хозяину отлучиться на далекую заимку.

Хозяин седлал коня сам, неторопливо и обстоятельно: точно так, как он делал всё и всегда (если, конечно, для него имели значение эти самые «всё» и «всегда»); но – отчего-то именно сегодня конь пугался Хозяина, что-то чувствовал и дико косился, всхрапывая; отшатываться, впрочем, не смел.

Павол давно обратил (бы) внимание (если бы внимание вещей к малейшей воле Хозяина само не бросалось в глаза), как всё у Хозяина ладится, как слушаются его вещи простые и вещи одушевленные: кони и люди, посева и земля под ногами; пожалуй, захоти он, и земля сама носила бы его на себе.

Или (ты только захоти!) замирала бы, причём – почти без принуждения; но – Павол обратил всё свое внимание на то, что Хозяин ничего не хотел. Даже внимания того единственного (кроме богов) человека, который мог это внимание выказать: маленького стрелка из лука.

Потому – не обращался и сам Павол Гвездослав (к власти над вещами). Просто – во всём происходящем особенным было только одно: само «обращение» (перекидывание из природы в природу) любой вещи – когда сама «вещь» (как избушка на куриных ногах) отворачивается от тебя «вещностью» (обернувшись своим вещим).

До сих пор мальчик видел лишь сторонние проявления этой власти (естественно, он то ли сторонился Хозяина, то ли робел становиться Хозяином), да и сам Хозяин ему до сих пор ни разу не давал ему прямых (как с рук на руки) указаний; кроме неизбежных разъяснений по дому.

Так было до самого момента отъезда; но – закончив с конем, Хозяин окликнул Павола и повелел:

– Смотри. Запоминай. Повторять не буду, – он поднял всю тяжесть ключей на ладонь и неслышно (ладонь, одушевленная, не могла от них, одушевляемых ею, оторваться) встряхнул; а потом подкинул, дабы они сами по себе прозвенели.

Потом – долго молчал, нарочито давая понять, что передача ключей дается ему с превеликой неохотой; то есть подчеркивал исполнение долга. И с особым значением указал на особенный, приметных размеров и фигурной формы:

– Кольца не разъединить; поэтому – ты получишь все ключи. До сих пор я был неподалёку. Теперь ты сможешь ходить везде (сам) и всё видеть (сам).

Павол – слушал (почти не дыша). Хозяин сказал (с пониманием):

– Помню, сам когда-то задохнулся (и словно бы до сих пор держу в легких приоткрытый мне Космос).

Павол – промолчал о Космосе (почти не дыша). Хозяин сказал (опять с пониманием):

– Поначалу – ты ничего не поймёшь; да и потом – поймёшь ещё меньше: кроме одного! Что ты можешь быть везде. Кроме одной комнаты за железной дверью. Вот ключ от этой комнаты (я даю тебе все ключи). Но за железную дверь хода тебе нет.

– Почему?

– Слова говоришь. Вопросы задаешь. Пусть. Ослушаешься меня, и – боги тебя накажут, причём немедля, – так, впервые при Паволе помянувши богов, Хозяин передал ему ключи и уехал.

И начался для мальчишки день первый. Ни в коем случае не путать с самым Первым Днем Творения. Впрочем – в этот день дверь для Павола так и осталась заперта.

Потом – сразу наступил день второй. Который – тоже сразу же покатился к закату: мальчик так умаялся за день, что о запертой двери не даже думал (разве что болезненно помнил); и продолжал не думать даже во сне; и продолжал не думать на рассвете; а на третий день на Лесную Заставу вернулся Хозяин.

Заприметив его еще на опушке, Павол вышел и уверенно спустился с крыльца, и Хозяину низко поклонился. Хозяин – на поклон не ответил, лишь взглянул и ничего не сказал: мальчик

оказывался излишне послушлив. Хороший мальчик и хороший работник (почти раб); впрочем – ещё ничего не решилось.

Опять день за днем потянулась работа, и можно было лишь бесплодно гадать: как надолго могли покидать свое племя юные работники (пусть даже для обряда инициации)? Только тот, кому неведома переменчивая природа бревен терема, мог бы задаваться подобным пустым вопросом.

В ирреальности тоже есть своя иерархия, для которой не существенны простые течения пространства и времени – важны только их пересечения; а в точке этих пересечений человек узнавал себе лютую цену.

А потом – этой ценой оплачивал все затраты на себя.

Так что, на деле, на Лесную Заставу мальчик в сопровождении Храбра (а был ли Храбр? Отсюда и происходят разнообразные «псевдо») то ли ещё не приехал (и все комнаты с чудесами суть ещё недосмотрены), то ли – уже покинул её не изменившимся: ему самому предстояло выбирать из этих псевдо-существований своё собственное.

Но он видел: Хозяин Лесной Заставы не выбирал. Более того – даже не принуждал кого-либо это делать: сами придут и сами всё предложат.

А то, что этот мальчик негаданно оказался из Перворождённых (если и не псевдо-Адам, то псевдо-Илия или ещё кто из отражений в зеркалах «Атлантиды»), никто (бы) не мог даже представить – разве что Хозяин несколько был удивлён первыми словами пришельца из леса; к тому же – не было у этого мальчишки никакого чувства неоспоримого превосходства над видимым миром; одна неискоренимая искренность.

Оказалось – её одной более чем достало, чтобы не выучкой, а неистребимым своим естеством мальчик тоже – не выбирал(!) из двух зол: прозревающие лишены выбора.

Но всё эти вещи прижившемуся на Лесной Заставе волхву не были важны: ему важен был только результат: что человек (*homo sum*) есть лишь вещь.

А пока день за днём (а были ли дни?) работы становилось всё больше (привыкай, послушливый); несуществующие дни сменялись несуществующими ночами (как бы иллюстрируя: и это пройдёт); но – день проходил, мальчик падал на лавку и засыпал в своем «сне наяву».

А во сне – не являлись ему сны! Ибо – зачем? А нет такого вопроса. Зато есть такой ответ.

А потом – опять порешил Хозяин уехать, и все небывалое повторилось: передача всех ключей и запрет на единственный.

А потом – целый день мимо запертой двери (туда и обратно) ходил мальчик по самым обычным делам, неотложно наказанным Хозяином; и сам того не заметив (едва лишь стемнело) оказался перед своей лавкой, чтобы упасть на нее и уснуть; но – не упал на нее, а замер (перед лавкой).

Он стал вспоминать все диковины терема: к ним дозволялось прикасаться, не возбранялось и спрашивать; но – отчего-то Павол ни о чем никогда не спрашивал; должно быть, откуда-то знал, что узнавать можно иначе.

И вот теперь Хозяина рядом не было: затем, быть может, чтобы даже искуса не было спрашивать – о неживом!

Да, огромен был лабиринт; и не было в нем минотавров (казалось бы), и многие мёртвые вещи становились Паволу доступны, а некоторые – даже казались подвластны; потому – стал он (на этот раз совершенно праздно) бродить и смотреть.

Дивны были диковины! Как бусины четок, долго мог бы он их перебирать: пока не возник бы у него искуса узнать, что такое есть (такая – без молитвы) бусина?

Почти до самого рассвета бродил он: смотрел и забывал (ибо взгляды его были как о стену горох); и запертую дверь оставлял он нетронутой. А перед самым рассветом опять (уже окончательно) подошел он к своей лавке; а потом – даже лег на нее и вытянулся, и закинул (как когда-то перед курганом) руки за голову.

Но опять (как когда-то перед курганом) не пришло к нему забвение; и опять не пришло, и опять! Как бы не зажмурился он глаза.

И тогда (в своём невидимом) заворочались боги, не на шутку обеспокоенные.

Ибо – дивны были диковины, но – не видел в них мальчик настоящего дива; потому (против воли) пробудились боги и заворочались; выходя из неощутимости в реальность и сотрясая ее, они готовились потрясти мальчишку именно что осознанием: мышшь в Лабиринте и есть deus ex machina; мир и есть Лабиринт, а больше ничего нет.

Именно «поэтому» – не судил Хозяин; а вот сумеет ли мальчик не судить «по другому», решиться должно было вот-вот (только это и волновало богов, которых ничто не могло волновать).

А пока перед Паволом трясли детской погремушкой: огромен был Лабиринт (истинная игрушка богам); многим играм можно было бы в нём научиться; или даже самому перекинуться в мелкие боги-перевозчики (самая незначительная функция прометеева лукавства) и заиграться в своих сновидениях наяву.

Но – мальчик то ли не хотел, то ли изначально не мог стать ни рабом, ни богом (просто-напросто не мог восстать из иллюзий кем-то меньшим, нежели уже был), то ли сам по себе был лишь иллюзией всем прометеем и ноям, пустотой из пустот порождённой, иллюстрацией бессмысленности; потому – заворочались боги!

Не могли не выйти в реальность. Огромен был Лабиринт. Но – у этого маленького стрелка из лука не то чтобы не осталось вопросов о мёртвой жизни; у него их изначально и не было.

Человек в Лабиринте был для богов необожжённой глиной, и только; и постольку-поскольку он был человек (то есть и породитель, и питатель богов), то он просто не мог не то чтобы простым фактом своего существования (не) отказаться их порождать и питать, а вообще – (не) существовать в мире без этой (и прочих) нужды.

Но всё это дело – не homo sum, а только богов; дело в том и состояло, что мальчик не засыпал оттого, что прозрел: потому – на этот раз ещё одной ночи у него не будет! Что с рассветом вернётся Хозяин, повернув с полдороги, и никуда больше не уедет; а вскоре и отправит обратно, дав ему какое-нибудь новое имя (и душу живую забрав).

Ведь даже в сказках герою не дают бесконечно всё новые и новые попытки воскреснуть.

Рассвет, между тем, почти наступил; то есть! Вот-вот – и уже само будущее будет готово чугунной пятой наступить на его мироздание и навеки его (многомерную) душу (до плоской) расплющить; рассвет, меж тем, уже почти наступал! И тогда мальчик व्यюном выскользнул из-под рушащегося на него апокалипсиса.

То есть – он попросту встал с лавки; а что вместе с ним встала и его усталость (от прошлых и будущих жизней), так вместе с ней он и вышел во двор и глянул на небо; он словно бы видел, как прямо-таки со своего близкого неба (прямо-таки плетьюми) погоняют Хозяина растревоженные боги; кто станет говорить о (всего лишь) лохматых бородах туч? Нет таких дураков.

Он долго-долго ополаскивал лицо дождевой водой из бочки (ах как он не торопился!); но – только так он перестал медлить: становился совершенно ясен себе! Он вернулся в терем и сразу же направил свой шаг в сторону железной двери.

И подбежал к ней, совершенно уже задыхаясь.

Запретный ключ, приметный и неудобный, сам попросился в ладошку; Павол не задумался, положив в замочную скважину, его повернуть. И тотчас оцарапался о хитроумную зазубрину.

Свежий яд, которым она была смазана, подействовал почти сразу.

Времени в этом «почти сразу» оказалось более чем довольно, чтобы распахнуть окованную железом дверь и шагнуть за порог; и сразу же тяжелые молоты стали крушить его лоб и виски.

Словно бы – выковывая из каждого мгновения его смерти отдельную (осознающую себя как непреходящая ценность) личность: словно бы – и сомкнулась над ним тишина, и боги сна принялись изменять его плоть и его скелет (почти Редьярд Киплинг, последний поэт английского империализма); и мир вокруг него принялся изменяться (не как в тереме, то есть шаг вперед, два назад, а кошачьим прыжком); и он даже стал падать; но!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.